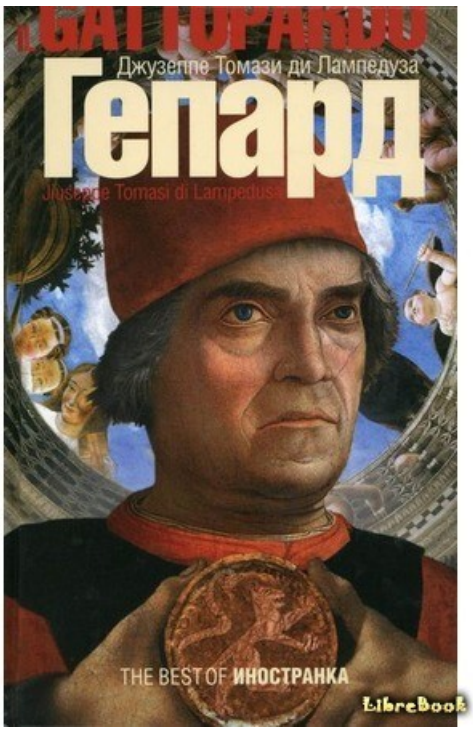
Джузеппе Томази ди Лампедуза «Леопард»



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вечерняя молитва и знакомство с князем. — Сад и мертвый солдат. — Аудиенция у короля. — Ужин. — В коляске до Палермо. — В гостях у Марианнины. — Возвращение в Сан-Лоренцо. — Беседа с Танкреди. — Дела в конторе и рассуждения о политике. — С падре, Пирроне в обсерватории. — Разрядка за обедом. — Дон Фабрицио и крестьяне. — Дон Фабрицио и сын Паоло. — Известие о десанте и снова молитва.

Май 1860

«Ныне и присно и вовеки веков. Аминь».

Отзвучали последние слова ежевечерней молитвы. На протяжении получаса спокойный голос князя напоминал о милосердии и покаянии; на протяжении получаса иные голоса, сливаясь друг с другом, плели волнистую ткань молитвенного гула, на которой золотыми цветами рассыпаны были необычные слова: любовь, непорочность, смерть; покуда не стих этот гул, гостиная в стиле рококо казалась преобразившейся; даже попугаи, распластавшие свои широкие крылья на стенах, обитых шелком, словно немного оробели, даже Магдалина в простенке между окнами походила сейчас на грешницу, а не на рыжеволосую красавицу, мечтавшую невесть о чем.

Теперь, когда голос князя умолк, все стало возвращаться к обычному порядку или, вернее, обычному беспорядку. В дверь, через которую, вышли слуги, помахивая хвостом, забрел пес Бендико, еще обиженный своим недавним изгнанием.

Женщины медленно подымались со своих мест; отброшенные в сторону шлейфы лишь постепенно открывали взору обнаженные мифологические

фигуры на мелочно-белом мраморе пола, покуда, наконец, сокрытой от глаз осталась лишь одна Андромеда: сутана падре Пирроне, все еще погруженного в молитвы, долго мешала ей вновь свидеться с серебристым Персеем, который жаждал поцелуев и спешил к ней на помощь, преодолевая бурные потоки.

Проснулись божества, изображенные на плафонных фресках. Толпы тритонов и дриад, возникая из водных пучин, низвергаясь с горных высот, пробиваясь сквозь малиново-красные облака и заросли альпийских фиалок, устремлялись к некоему подобию Золотого Ущелья, дабы оттуда превозносить, до небес славу дома Салина; их бивший через край восторг вынудил художника пренебречь простейшими законами перспективы; главные божества, князья среди богов, Юпитер-громовержец, насупившийся Марс, томная Венера, вырвавшись из толпы божеств меньшего ранга, крепко держали голубой щит с изображением пляшущего Леопарда. Они-то знали, что теперь снова могут целых двадцать три с половиной часа спокойно владеть этим домом. Изображенные на стенах обезьянки опять стали строить рожи попугаям.

А вслед за этим палермским Олимпом поспешили спуститься на землю с мистических высот и смертные обитатели дома Салина. Девицы расправляли складки на платьях и со смешинкой в голубых глазах перекидывались друг с другом словечками из лексикона питомиц монастыря — вот уже больше месяца прошло со дня Четвертого апреля (4 апреля 1860 года в Сицилии произошли первые массовые выступления против власти Бурбонов, предшествовавшие освобождению острова войсками Гарибальди), когда им, предосторожности ради, ведено было вернуться домой из монастырской школы; они теперь тосковали по своим дортуарам с балдахинами и по тесному общению с Господом Богом. Мальчишки уже успели сцепиться, вырывая друг у друга образок святого Франциска; первенец, наследник, герцог Паоло, захотел курить, но, стесняясь приступить к этому занятию в присутствии родителей, расхаживал по комнате, нащупывая лежавший в кармане соломенный портсигар. На исхудалом лице герцога Паоло появилось выражение какой-то нездешней тоски: день выдался неудачный — рыжий ирландский скакун Гуискардо как будто начал сдавать, а Фанни не нашла способа (а может, и не пожелала) переслать ему, как обычно, свою записочку на цветной бумаге. Зачем, собственно, Спасителю понадобилось воскресать?

Княгиня порывистым нервным движением положила молитвенник в вышитую стеклярусом сумочку и взглянула прекрасными, безумными

глазами, на своих детей-рабов, затем на мужа-тирана, к которому тянулось ее хрупкое тело, тщетно жаждущее любовной близости. А князь тем временем подымался со стула под тяжестью его гигантского тела сотрясались половицы — на мгновение в ясных глазах князя вспыхнула гордость за это хоть и призрачное подтверждение господства над людьми и вещами. Теперь он водружал на стул, стоявший перед ним во время молитвы, непомерно большое евангелие в красном переплете и складывал платок, служивший ему во время коленопреклонения легкое недовольство омрачило его взгляд, когда он вновь обнаружил пятнышко от кофе, с утра посмевшее нарушить сверкающую белизну его жилета.

Нельзя сказать, чтоб князь был толст; нет, он только отличался огромным ростом и необычайной силой; в домах где обитали простые смертные, он головой касался люстры; пальцы князя сгибали золотые дукаты, словно веленевую бумагу, и нередко из дома Салина в ювелирную лавку отправлялись в починку вилки и ложки, которые князь за столом сгибал в дугу, давая тем самым выход с трудом сдерживаемому гневу. Впрочем, эти же пальцы способны были к движениям, весьма деликатным, способны были к ласке и к управлению тончайшими приборами; на горе свое, не забывала об этом Мариа-Стелла, жена князя; но и винты, кольца, кнопки и протертые порошком стекла телескопов, подзорных труб, «искателей комет», наполнявшие его личную обсерваторию в самой верхней части виллы, были знакомы с легким, едва ощутимым прикосновением его рук.

Лучи солнца, уже близкого к закату, но все еще стоящего высоко в этот майский предвечерний час, осветили розоватое лицо князя — признак немецкого происхождения его матери, той самой княгини Каролины, чье высокомерие тридцать лет тому назад замораживало погрязший в небрежении двор королевства Обеих Сицилий. Привлекательная бледно-розовая кожа и белокурые волосы на фоне оливковых лиц и иссиня-черных волос дополнялись другими германскими ферментами в крови князя, гораздо менее удобными для сицилийского аристократа в этом тысяча восемьсот шестидесятом году, властный нрав, известная закостенелость моральных устоев и склонность к абстрактному мышлению, которые в морально развинченной атмосфере палермского общества соответственно перешли в капризный деспотизм, вечные моральные угрызения и презрение к родным и друзьям, которые, как ему казалось, дрейфовали в излучинах медленной реки сицилийского прагматизма.

Первый (и последний) в роду, представители которого на протяжении веков неспособны были даже к тому, чтоб произвести сложение своих расходов и вычитание собственных долгов; князь обладал большой и подлинной склонностью к математике; приложив свои способности к астрономии, он тем самым добился немалого общественного признания и испытал тончайшие наслаждения разума.

Гордость князя столь тесно сплелась у него склонностью к математическому анализу, что себя поверить, будто звезды подчиняются его расчетам (да и на самом деле казалось, что именно; так они поступают), а две небольшие планеты, открытые им (Салина и Резвый назвал он их по имени поместья и своей незабвенной гончей), прославляют род его в прозрачно-чистых просторах между Марсом и Юпитером, тем самым придавая фрескам во дворце пророческое значение.

Обуреваемый, с одной стороны, гордыней и страстью к трезвому мышлению, унаследованными от матери, а с другой — чувственностью и легкомыслием отца, бедный князь Фабрицио при всех своих повадках Зевса томился вечной тоской и безучастно наблюдал за крушением как своего сословия, так и собственного достояния, не имея ни малейшего желания воспрепятствовать тому и другому.

Эти полчаса между молитвой и ужином казались князю наиболее приятными, и он заранее предвкушал их обманчивый покой.

Предшествуемый Бендико, который по сему случаю пришел в крайнее возбуждение, князь спустился по невысокой лестнице, ведущей в сад. Расположенный между виллой и тремя стенами ограды, этот сад, отгороженный от мира, напоминал кладбище; параллельные ряды холмиков, столь похожие на могилы тощих великанов, подчеркивали это сходство, хотя на деле лишь разграничивали канавы для обводнения.

Здесь, на красноватой глинистой почве, все росло в густом беспорядке — живая изгородь из мирта скорее преграждала путь, нежели служила своей цели; цветы, тянулись кверху как Бог на душу положит. В глубине сада статуя Флоры, покрытая желтовато-черными пятнами лишайника, смирившись, выставляла напоказ свои многовековые пороки; две скамьи из серого мрамора с выщербленными подушками из того же материала стояли по обе стороны статуи; лишь росшая в углу акация вклинивалась в эту картину золотом своего неуместного веселья. Здесь каждая пядь земли свидетельствовала о стремлении к красоте, быстро погрязшем в лени.

Сад, теснимый этими стенами, словно умерщвленный ими, источал слащавые, плотские, слегка гнилостные запахи, напоминающие запахи ароматических жидкостей, которыми пропитывают мощи святых; пряный, проперченный запах гвоздики заглушал церемонное благоухание роз и крепкий аромат магнолий, росших в углах сада; а откуда-то снизу подымался запах мяты, смешанный с детски наивным благоуханием акаций и слащавым ароматом мирта; из-за ограды струились альковные запахи первых цветов апельсинового дерева.

В этом саду все оскорбляло глаз: он был положительно создан для слепого; но обоняние могло здесь получить сильное, хоть и не тонкое наслаждение. Розы «Поль Нейрон», черенки которых князь сам приобрел в Париже, здесь выродились; сначала их питали и звали к жизни могучие и беспечные соки сицилийской земли, затем их жгло беспощадное солнце, и теперь они превратились в подобие капусты телесного цвета, на вид непристойной, но издававшей до одурения стойкий аромат, на который не посмел бы рассчитывать ни один из французских садоводов.

Князь поднес такую розу к самому носу, и ему почудилось, будто он вдыхает знакомый запах кожи одной балерины парижского театра «Гранд Опера».

Бендико, которому также было предложено понюхать розу, отвернулся от нее с отвращением и поспешил на поиски более здоровых ощущений среди раскиданного по земле удобрения и дохлых ящериц.

Однако у князя полный ароматов сад вызвал цепь мрачных мыслей. Теперь здесь так славно пахнет, а с месяц назад…

И он с омерзением вспомнил, как по всей вилле волнами разнесся приторно-тошнотворный запах, причину которого установили лишь позднее: его издавал труп молодого солдата пятого батальона егерей, который, будучи ранен в стычке с отрядом бунтовщиков у Сан-Лоренцо, приполз сюда, чтоб одиноко умереть возле лимонного дерева. Он лежал ничком среди густой листвы, опустив лицо в лужу крови и блевотины, вцепившись ногтями в землю; по трупу ползали муравьи, а под самой портупеей в грязной жиже плавали лиловатые кишки.

Руссо, управляющий князя, обнаружив в саду этот разлагавшийся труп, перевернул его на спину, прикрыл лицо покойника большим красным платком, с помощью ветки втиснул выпавшие кишки в открытую рану, прикрыл ее голубыми фалдами шинели, не переставая при этом с омерзением плеваться — хоть и не прямо в лицо покойному, но все же

вблизи трупа. И все это Руссо проделывал с вызывавшим опасения знанием дела, приговаривая: «Эти мерзавцы воняют даже после смерти». Вот и все, чем была отмечена одинокая кончина.

Когда однополчане унесли тело (они тащили его до повозки, ухватив за плечи, так что из куклы снова выпала набивка), к вечерней молитве добавили «de profundis» за упокой души незнакомца; совесть женщин из дома Салина на том успокоилась, и больше о нем не вспоминали.

Князь подошел к статуе Флоры, ободрал лишайник с ее подножия и стал ходить взад и вперед по саду, низкое закатное солнце бросало мрачные тени на садовые грядки, и без того походившие на могилы.

О покойнике и в самом деле разговору больше не было; в конце концов, солдаты на то и солдаты, чтоб умирать, защищая своего короля. И все же образ этого выпотрошенного солдата всплывал в памяти, словно взывая о покое, который мог быть достигнут лишь единственно приемлемым для князя способом: только сознанием абсолютной необходимости можно преодолеть и оправдать эти страшные муки. А вокруг толпилась иные, куда более жестокие призраки. Пожалуй, смерть за кого-то или за что-то в порядке вещей; нужно, однако, знать, или по крайней мере быть уверенным, что человек знал, за кого или за что умер; изуродованный труп солдата требовал ответа, но тут-то как раз и начинался туман.

«Но, дорогой Фабрицио, он умер за короля, это же ясно, — ответил бы ему шурин Мальвика, тот самый, кого толпа друзей всегда избирала своим рупором. За короля, представляющего порядок, преемственность, приличие, право, честь; за короля, который один лишь защищает церковь, за короля, который не даст уничтожить собственность, — а ведь это конечная цель секты» (К «секте» феодальная реакция причисляла участников аитибурбонского движения). Ничего не скажешь, прекрасные слова, обозначавшие все, что дорого князю, что запало ему глубоко в сердце. И все же режущая боль оставалась. Ну, ладно, король. Он хорошо знал короля, по крайней мере того, который недавно скончался; нынешний всего лишь семинарист, напяливший генеральский мундир, и, по чести говоря, мало чего стоит. «Но это же не довод, Фабрицио, — возражал Мальвика. — Отдельный суверен может и не быть на высоте, однако монархическая идея остается». — «Верно и это, но короли, воплощающие идею, все же не должны, не могут из поколения в поколение опускаться ниже определенного уровня не то, дорогой шурин, пострадает и сама идея».

Сидя на скамье, князь безучастно наблюдал за разрушениями, которые Бендико производил на грядках время от времени пес поглядывал на него своими невинными глазами, словно просил похвалы за свершенную им работу: четырнадцать изломанных гвоздик, наполовину разрушенная изгородь, одна засоренная канавка. Не пес — настоящий христианин.

— Молодец, Бендико, поди сюда!

И пес подбегал, касался руки князя испачканными землей ноздрями, изо всех сил стремясь доказать, что великодушно прощает столь легкомысленнее вмешательство в его прекрасную работу.

Аудиенции, многочисленные аудиенции, которые король Фердинанд давал князю в Казерте, в Каподимонте, в Портичи, в Неаполе и еще черт знает где.

Он шагал рядом с камергером — болтуном с треуголкой под мышкой и самыми свежими непристойностями Неаполя на устах — по бесконечным залам, где великолепная архитектура сочеталась с меблировкой, столь же тошнотворной, как и сама бурбонская династия; затем по грязным переходам и плохо подметенным лестничкам они добирались до приемной, где ждало много народу; непроницаемые лица шпионов, алчные лица рекомендованных просителей. Камергер, то и дело прося прощения, расталкивал толпу людишек и вел князя в другую, предназначенную для придворных приемную — серебристо-голубую гостиную времен Карла Ш; после недолгого ожидания в дверь легко стучался лакей, и князь представал перед высочайшей особой.

Личный кабинет мал и нарочито прост: на беленых стенах портрет короля Франциска I и нынешней королевы, которая глядела кисло и гневно; над камином мадонна Андреа дель Сарто, казавшаяся изумленной тем, что ее поместили среди цветных литографий, изображавших третьеразрядных святых и неаполитанские часовни; на особой подставке восковой младенец Христос и зажженная свеча перед ним; на скромном письменном столе белые бумаги, желтые бумаги, голубые бумаги: словно вся администрация королевства в своей конечной фазе — в ожидании подписи его величества.

За бумажным заграждением сам король. Он уже встал во весь рост, чтоб не показывать, как подымается широкое поблекшее лицо, обрамленное

белокурыми бакенбардами, военный мундир из грубого сукна, из-под которого каскадом ниспадают лиловые панталоны. Король делает шаг навстречу, милостиво протягивая правую руку для целования, которое затем будет отклонено им.

— Салина, благословенны глаза мои, когда тебя видят.

Сочностью своей неаполитанский акцент короля намного превосходил акцент камергера.

— Прошу, ваше величество, простить мне отсутствие придворного мундира; я лишь проездом в Неаполе и не хотел упустить возможности лично выразить свое почтение вашему величеству.

— Салина, да ты в своем уме? Ведь знаешь, что в Казерте ты, как у себя дома. Конечно, как у себя дома, — повторял король, усаживаясь за письменный стол и медля с минуту, прежде чем предложить сесть гостю. — А девочки как поживают?

Князь понял, что настал момент для пикантной и в то же время ханжеской двусмысленности.

— Девочки, ваше величество? В мои лета, будучи связан священными узами брака.

Губы короля улыбались, но руки строго перебирали бумаги на столе.

— Поверь, я никогда бы себе не позволил, Салина. Я справлялся о княжнах, о дочерях твоих; Кончетта, милая наша девчурка, уже, должно быть, подросла, стала взрослой.

От семьи — к науке.

— Ты, Салина, делаешь честь не одному себе — всему королевству! Великое дело наука, коль ей не вздумается нападать на церковь!

Зятем, однако, маска друга откладывалась в сторону и надевалась маска строгого монарха.

— Скажи-ка, Салина, что поговаривают в Сицилии о Кастельчикала?

Салина слышал о нем много как от монархистов, так и от либералов, но не хотел предавать друга, мялся, отделывался общими фразами.

— Большой синьор, прославлен в бою, быть может, немного стар для трудов наместничества.

Король мрачнел: Салина не хочет шпионить. Значит, Салина ровно ничего не стоит. Опершись руками о письменный стол, король приготовился закончить аудиенцию.

— Столько дел; все королевство лежит на этих плечах. — Теперь настало время немного подсластить: — Салина, когда будешь проезжать через Неаполь, покажи Кончетту королеве. Знаю, слишком молода, чтоб быть представленной ко двору; но кто же нам помешает устроить маленький, совсем интимный обед. Знаешь, как говорят у нас в Неаполе: раз макароны на столе, дети хорошо растут… Привет тебе, Салина, будь здоров.

Но однажды прощание вышло прескверное. Князь, пятясь назад, уже успел совершить второй из предписанных по этикету поклонов, когда король снова призвал его.

— Послушай, Салина. Говорят, в Палермо у тебя подозрительные знакомства. Этот твой племянник Фальконери… Отчего ты ему не вправишь мозги?

— Но, ваше величество, Танкреди занят лишь женщинами и картами.

Король потерял терпение.

— Салина, Салина, ты глупеешь, за всех в ответе ты, опекун. Ему скажешь, чтоб голову берег. Прощай!

Снова проходя безвкусно-пышной анфиладой комнат, чтоб расписаться в книге посещений королевы, князь чувствовал, как им овладевает уныние. Плебейская сердечность короля угнетала не меньше его полицейской ухмылки. Блаженны те его друзья, кто видит в фамильярности знак дружбы, в угрозе — знак королевской мощи. Он не может. Обмениваясь сплетнями с безукоризненным камергером, он задавал себе вопрос, что же придет на смену этой монархии, на челе которой уже начертаны знаки смерти. Пьемонтец, прозванный Благородным и поднявший столько шума в сноси маленькой захолустной столице? Разве все не останется по-прежнему? Туринский диалект взамен неаполитанского. Только и всего.

Подошли к книге записей. Расписался: Фабрицио Корбера, князь Салина.

А может, республика дона Пеппино Мадзини? «Спасибо, тогда я стал бы просто синьором Корбера».

Долгий обратный путь его не успокоил. Даже мысль об уже назначенном свидании с Корой Даноло не могла его утешить.

Что оставалось делать, раз все обстояло именно так? Цепляться за то, что есть, не совершая прыжков вслепую? Но тогда нужен сухой треск залпов, совсем недавно раздавшийся на одной из мрачных площадей Палермо. Впрочем, к чему залпы? Одним «бум! бум!» ничего не добьешься. Не так ли, Бендико?

«Динь, динь, динь» — прозвучал в ответ колокольчик, возвещавший ужин. Бендико бежал, и слюни текли у него в предвкушении еды. «Точь-в-точь как тот пьемонтец!» — думал Салина, подымаясь по лестнице.

Ужинали на вилле Салина с ущербной пышностью, которая в те времена стала стилем королевства Обеих Сицилий. Уже одно число сотрапезников (их бывало четырнадцать, считая хозяев дома, детей, гувернанток, наставников) придавало внушительность столу. Покрытый штопаной скатертью тончайшего полотна, он сверкал при свете мощной лампы, не слишком надежно прикрепленной к фигуре нимфы, в свою очередь подвешенной к люстре из венецианского стекла. Свет еще лился в окна широкими потоками, но белые фигуры, служившие барельефом на темном фоне дверей, уже растворялись в тени. Массивное столовое серебро, великолепные бокалы с буквами «F. D.» (Ferdinand dedit — Дар Фердинанда) на богемском стекле — память о щедрости короля но тарелки, каждая тоже со славными F. D., это лишь жалкие остатки истребления, произведенного судомойками, и все они от разных сервизов. Те, что побольше, с широким, цвета зеленого миндаля бордюром и золотыми якорьками, происходили из королевского дворца в Каподимонте и служили лишь князю, который любил, чтоб вокруг него все, кроме жены, казалось массивным.

Когда князь вошел в столовую, все уже были в сборе, но сидела лишь княгиня, остальные стояли за спинками своих стульев. Перед прибором князя распростер свои серебряные крылья огромный супник; по сторонам его, словно колонны, высились горы тарелок, а на крышке красовался пляшущий леопард.

Князь сам разливал суп — занятие в достаточной мере приятное, символ высоких обязанностей отца семейства. Однако в этот вечер все услышали уже давно не раздававшееся грозное позвякиванье ложки о стенки супника — признак великого, но еще сдерживаемого гнева (самый страшный из

всех звуков на свете, — рассказывал сорок лет спустя один из оставшихся к тому времени в живых сыновей): князь заметил, что шестнадцатилетнего Франческо Паоло нет на месте. Правда, мальчик тут же вошел и со словами «прости меня, папа» сел за стол. Выговора не последовало, и все же падре Пирроне, в какой-то мере исполнявший роль сторожевого пса, поручил себя божественному милосердию. Бомба не взорвалась. Но ветер, возникший при ее полете, заморозил присутствующих, и ужин все равно был испорчен. Все ели в тишине, чуть прищуренные голубые глаза князя поочередно впивались в сыновей, заставляя их неметь от страха.

Между тем князь думал: красивая семья. Женщины в меру полны, цветущи, лукавые ямочки на щеках, резкая складка между бровями — атавистический недостаток рода Салина. Мужчины худощавы, не крепки, на лицах модная меланхолия, а ножами и вилками орудуют со сдержанной силой.

Один из сыновей, Джованни, второй по счету, самый любимый, самый непокорный, отсутствует более двух лет. В один прекрасный день он исчез из дому, и два месяца не было от него вестей. Наконец из Дон-дона пришло почтительное и холодное письмо, в котором он просил простить его за доставленные огорчения, не волноваться о его здоровье и самым странным образом утверждал, что скромную жизнь служащего на угольном складе предпочитает «слишком обеспеченному» (читай: «скованному») существованию под родительским кровом. Воспоминания и тревога за юношу, блуждающего среди продымленных туманов еретического города, больно защемили сердце много пережившего князя. Он еще больше помрачнел. Помрачнел настолько, что сидевшая рядом с ним княгиня протянула свою детскую руку и погладила могучую лапищу леопарда, покоившуюся на скатерти. Этот неосторожный жест вызвал цепь ощущений: раздражение, что к нему испытывают жалость, чувственное влечение, направленное, однако, не на ту, кто его пробудил. В одно мгновенье перед князем возникла утопавшая в подушках головка Марианнины. Повысив голос, он сухо бросил слуге:

— Доменико, скажешь дону Антонио, чтоб заложил гнедых в коляску, после ужина я спущусь в Палермо. Взглянув в глаза жены, остекленевшие от испуга, он было раскаялся в своем приказании, но, поскольку отмена раз отданного распоряжения немыслима, решил настоять на своем, дополнив жестокость насмешкой: — Падре Пирроне, едем со мной вернемся к одиннадцати; два часа вы сможете провести в монастыре со своими друзьями.

Поездка в Палермо вечером, да еще в эту пору беспорядков, если только дело не шло о любовном приключении самого низкого пошиба, казалась совершенно абсурдной; но брать в качестве спутника в такую поездку своего домашнего духовника было уже возмутительным самодурством. Падре Пирроне по крайней мере воспринял это решение именно так и, конечно, оскорбился, — но уступил.

Едва была проглочена последняя ягода мушмулы, как у подъезда раздался шум подкатившего экипажа. Пока в зале лакей подавал князю цилиндр, а отцу иезуиту треуголку, княгиня, у которой слезы навернулись на глаза, предприняла последнюю тщетную попытку:

— Но, Фабрицио, в такие времена… дороги полны солдат, на улицах сброд… Может приключиться беда.

Он рассмеялся.

— Глупости, Стелла, глупости. Что может случиться? Все меня знают. В Палермо мало таких верзил. Прощай.

И поспешно поцеловал ее гладкий, без единой морщинки лоб, едва достигавший его подбородка.

То ли запах кожи княгини пробудил в нем нежные воспоминания, то ли покаянная поступь следовавшего за ним падре Пирроне прозвучала как предостережение, но, дойдя до коляски, князь снова едва не отменил поездку. Однако в ту минуту, когда он велел кучеру повернуть в конюшню, из окна раздался безумный крик:

— Фабрицио, мой Фабрицио! — У княгини начинался очередной истерический припадок.

— Пошел, — сказал он кучеру, который сидел на козлах, прижав кнут к животу. — Пошел. Едем в Палермо, отвезем его преподобие в монастырь. — И хлопнул дверцей, прежде чем лакей успел ее закрыть.

Ночь еще не наступила; меж высоких стен белой лентой вилась дорога. По соседству с поместьем Салина слева виднелась полуразрушенная вилла Фальконери. Она принадлежит Танкреди, племяннику и питомцу князя. Отец Танкреди, муж сестры князя, умер, промотав свое состояние. Эго было полное разорение, одно из тех, когда уплывает даже серебро, украшавшее ливреи слуг; после смерти матери Танкреди король поручил

опеку над четырнадцатилетним племянником князю Салина. Мальчик, которого он до этого почти не знал, пришелся весьма по душе раздражительному князю, который обнаружил в нем веселый задор, легкомысленный нрав, а порой внезапные приступы серьезности. Хоть князь не признавался и самому себе, но он предпочел бы племянника своему первенцу, добродушному олуху Паоло.

Теперь Танкреди шел двадцать первый год, и он премило развлекался на деньги, которые опекун, не жалея, выдавал ему из собственного кармана. «Кто знает, что сейчас вытворяет этот мальчишка», — думал князь, покуда коляска катила вдоль виллы Фальконери. В наступавшей темноте каскады цветов бугенвиллий, рвавшихся за изгородь, подобно шелковым занавесям, придавали дому излишне праздничный вид. «Кто знает, что он сейчас вытворяет».

Король Фердинанд, конечно, дурно поступил, заговорив с ним о плохих знакомствах мальчика, но, по существу, король прав. Попав в сети к приятелям игрокам и к женщинам, про которых в те времена говорили, что они «не умеют себя вести», Танкреди покорял их своей привлекательностью. Однако это не мешало ему открыто проявлять симпатии к «секте» и поддерживать сношения с тайным Национальным комитетом, быть может, даже брать оттуда деньги, так же, впрочем, как он брал их из королевской казны.

После событий Четвертого апреля князю всеми правдами и неправдами надо было выручать мальчика из нависшей над ним беды; пришлось наносить визиты и скептику Кастельчикала и подчеркнуто вежливому Манискалко. Нехорошо все это, конечно, но дядя никогда ни в чем не обвинял Танкреди: во всем повинно время, вот эти бестолковые времена, когда юноша из хорошей семьи не может сыграть партию в «фараон», не натолкнувшись при этом на компрометирующие личности. Плохие времена!

— Плохие времена, ваше превосходительство. — Голос падре Пирроне прозвучал, как эхо его собственных мыслей. Забившись в уголок коляски, прижатый грузным телом князя, подавленный его самодурством, отец иезуит страдал душой и телом, но, будучи человеком незаурядным, умел переносить собственные мимолетные муки в непреходящий мир истории. — Взгляните, ваше превосходительство, — указал он пальцем на обрывистые холмы вблизи Золотого ущелья, которые еще можно было различить в гаснущих лучах солнца. На склонах и на вершинах пылали

десятки огней — то были костры, которые отряды мятежников Зажигали еженощно, как бы в знак молчаливой угрозы Этому граду короля и монахов. Они походили на пламя свечи, зажженной в комнате безнадежно больного в его последнюю ночь.

— Вижу, падре Пирроне, вижу. — И он подумал, что Танкреди, быть может, сейчас хлопочет у одного из этих злобных костров, подкладывая туда своими аристократическими руками сучья, которые как раз — и горят для того, чтоб опалить эти руки. «Должно быть, я и в самом деле прекрасный опекун, раз мой питомец готов совершить любую глупость, какая взбредет ему в голову».

Дорога слегка спускалась, и можно было различить очертания города, погруженного во тьму. Низкие, лепившиеся друг к другу дома Палермо, казалось, были подавлены беспредельной громадой монастырей, А их здесь десятки, и все они огромные, плотно прижавшиеся друг к другу, монастыри мужские и женские, монастыри богатые и бедные, монастыри для благородных и для простонародья, монастыри иезуитов, бенедиктинцев, францисканцев, капуцинов, кармелитов, августинцев… Ввысь подымались расплывчатые очертания их голых куполов, похожих на высохшие груди без молока; но именно они, эти монастыри, и придавали городу столь мрачный вид, определяли весь его облик, служили ему украшением и вместе с тем несли в себе то ощущение смерти, рассеять которое и исступленному сицилийскому солнцу было невмочь.

Но в этот час, когда ночь уже почти опустилась, монастыри деспотически главенствовали над всем. На самом деле против них направлены костры, зажженные в горах людьми, весьма схожими с теми, кто жил в монастырях, такими же, как они, фанатичными, такими же, как они, замкнутыми и такими же, как они, жадными до власти, которая, согласно обычаю, означала праздность.

Об этом думал князь, покуда гнедые рысью бежали с горы; мысли эти противоречили его истинной природе; их породила тревога за судьбу Танкреди и чувственность, вынудившая его восставать против тех ограничений, которые воплощали монастыри.

Дорога теперь шла мимо цветущих апельсиновых рощ, и свадебные аромат их цветов растворял все вокруг, как ночь в полнолуние растворяет любой пейзаж; запах конского пота, запах кожаных сидений коляски, запах

князя и запах иезуита — все поглощал этот аромат обещанного исламом рая, аромат гурий и плотских наслаждений.

Падре Пирроне тоже был растроган.

— Сколь прекрасна была бы, ваше превосходительство, эта страна, если б…

«Если б в ней не было столько иезуитов», — подумал князь, чьи предвкушения сладчайших удовольствий были прерваны голосом священника. Но тут же он раскаялся в своей невысказанной грубости и хлопнул огромной ручищей по треуголке старого друга.

У въезда в предместье, у самой виллы Айрольди, патруль остановил коляску. Чьи-то голоса с апулийским, с неаполитанским акцентом закричали: «Стой!» Огромные штыки сверкнули при колеблющемся свете фонаря; но унтер-офицер тотчас же узнал князя, спокойно сидевшего с цилиндром на коленях.

— Простите, ваше превосходительство, проезжайте.

И даже усадил на козлы солдата, чтоб не тревожили на других заставах.

Отяжелевшая коляска двигалась медленно, она обогнула виллу Ранкибиле, проехала мимо Торрерозе и огородов Виллафраяка, вступила в город через ворота Макуеда.

В кафе «Ромерес» и «Четыре уголка Кампаньи» офицеры гвардейских отрядов хохотали и лакомились холодным кофе с мороженым в огромных бокалах. Но это был единственный признак жизни в городе: улицы пустынны, слышны лишь мерные шаги патрулей, обходящих город. На груди у солдат белые ремни крест-накрест. По обеим сторонам сплошные низкие громады монастырей — Бадиа Дель Мойте, Стиммате, Крочифери, Театини; подобные толстокожим чудовищам, черные как смола, они погружены в сон, напоминающий небытие.

— Через два часа я заеду за вами, падре Пирроне. Желаю славно помолиться.

И бедняга Пирроне смущенно стучал в ворота монастыря, в то время как коляска углублялась в переулки.

Оставив экипаж возле своего городского замка, князь пошел дальше пешком. Путь был недолог, но квартал пользовался дурной славой. Из низеньких домишек выходили с повеселевшими глазами солдаты; они были в полной форме, все ясно говорило о том, что они отстали от своих

частей, стоящих на площади; цветы базилики на шатких балконах домишек объясняли легкость, с которой солдаты туда проникали. Мрачного вида парни в широких штанах переругивались друг с другом, как переругиваются взбешенные чем-то сицилийцы. Издалека доносилось эхо случайных ружейных выстрелов нервничающих часовых. Дальше дорога шла мимо Калы; в старом рыбацком порту на воде покачивались полусгнившие лодки, своим тоскливым видом напоминавшие шелудивых псов.

— Я грешник, знаю, грешу вдвойне — перед божественным законом и перед человеческой привязанностью Стеллы. В этом нет сомнений, завтра исповедаюсь падре Пирроне. — Князь улыбнулся, подумав, что это, быть может, излишне: иезуит и так очень хорошо осведомлен о его сегодняшних проделках. Но дух ухищренья снова одолел его. — Грешу, поистине грешу, но ведь грешу, чтоб не совершить большего греха, чтоб наконец успокоиться, чтоб вырвать из тела своего эту занозу и не дать себя вовлечь в еще худшую беду. Господу Богу это известно. — Волна нежности к самому себе нахлынула на него. — Я бедный, слабый человек, — думал он, а его могучие ноги безжалостно топтали булыжник мостовой. — Я слаб, и никто меня не поддерживает. Стелла! Легко сказать! Господь знает, любил ли я ее: мне было двадцать, когда мы поженились. Слишком большую волю она теперь забрала, к тому же постарела. Ощущение собственной слабости прошло. Я еще полон сил; как же мне довольствоваться женщиной, которая в постели крестится перед каждым объятием, а потом, в минуты наивысшего волнения, только и знает, что повторять «Иезус Мария»! Когда мы поженились, когда ей было шестнадцать, меня все это трогало; но теперь… семь детей я прижил с ней, семь, а я ни разу не видел ее прелестей. Ну, справедливо ли это? — Он готов был закричать, возбужденный необычайной жалостью к себе: — Это справедливо? Я спрашиваю всех? — И, обращаясь к портику Катены, воскликнул: — Она и есть грешница!

Это открытие утешило его, и он уверенно постучал в дверь Марианнины.

Два часа спустя он уже возвращался обратно в своей коляске вместе с падре Пирроне. Священник был взволнован: собратья ознакомили его с политической обстановкой, которая была гораздо напряженнее, чем казалось в тиши уединенной виллы Салина. Опасались высадки пьемонтцев в южной части острова, со стороны Шиакка, власти обнаружили в народе глухое брожение; городской сброд ждет первого признака слабости в верхах, чтобы заняться грабежом и насилием. Отцы

иезуиты встревожены, старейшие из них вечерним пакетботом отбыли в Неаполь вместе с документами монастыря. «Да защитит нас господь, и да пощадит он это христианнейшее королевство».

Князь, погруженный в сытое, но омраченное чем-то спокойствие, едва слушал священника. Марианнина глядела на него своими большими мутными глазами крестьянки, ни в чем ему не отказывала, была скромна и услужлива. Ни дать ни взять Бендико в шелковой юбочке. В минуту особой близости она даже воскликнула:

— Ну и князь!

Он до сих пор посмеивался, довольный. Уж это, конечно, лучше всяких «котиков» и «белокурых обезьянок», к которым прибегала в аналогичных случаях Сара, парижская модница; он встречался с ней три года назад, когда по случаю конгресса астрономов ему в Сорбонне вручили золотую медаль. Конечно, эго куда лучше, чем «мой котик», и уж наверняка лучше, чем «Иезус Мария», — по крайней мере никакого святотатства. Хорошая девчонка Марианнина. Он привезет ей три канны (Мера длины) шелка, когда приедет в следующий раз.

И все же, что за тоска: слишком много рук касалось ее молодого тела, слишком покорна она в своем бесстыдстве. Ну, а сам он? Кто он такой? Свинья, и больше ничего. В памяти всплыло стихотворение, случайно прочитанное в одной из книжных лавок Парижа, где он листал томик чьих-то стихов, должно быть, одного из тех поэтов, которые выпекаются во Франции каждую неделю и о которых тут же забывают. Он снова видел перед собой лимонно-желтую стопку нераспроданных экземпляров и ту страницу, страницу с нечетным числом, и снова слышал строки, которыми кончались эти странные стихи.

*…**Где силы взять, где храбрости набраться,***
Чтоб в собственную душу заглянуть без отвращенья,
Без омерзенья видеть собственное тело.

Покуда падре Пирроне продолжал размышлять над неким Ла Фарина и неким Крипси, «Ну и князь» уснул, погруженный в схожее с отчаянием блаженство и убаюкиваемый рысью гнедых, жирные крупы которых поблескивали при свете фонарей коляски. Проснулся он лишь у поворота,

перед виллой Фальконери. «Этот тоже хорош, раздувает пламя, которое его же и пожрет».

Дома в спальне вид бедной Стеллы, в чепчике, с аккуратно зачесанными волосами, вздыхающей во сне на огромной и высокой медной кровати, растрогал и привел в умиление князя. «Семерых детей родила она мне и только мне принадлежала».

В комнате стоял запах валерьянки — последнее напоминание об истерическом припадке. «Бедная моя Стеллучча!» — сокрушался он, взбираясь на кровать. Проходили часы, но уснуть он не мог. Своей могучей дланью господь соединил в его мыслях три пламени: огонь объятий Марианнины, жар французских стихов, гневное пламя повстанческих костров на горе.

Однако ближе к рассвету княгине представился случай осенить себя крестным знаменем.

На следующее утро лучи солнца разбудили полного сил князя. Выпив кофе и надев красный халат с черными цветами, он брился у зеркала. Бендико положил ему на туфлю свою тяжелую морду. Брея правую щеку, князь в зеркале увидел лицо стоящего за ним молодого человека, худое лицо с застывшим выражением почтительной насмешки. Он продолжал бриться, не повернув головы.

— Танкреди, что ты натворил прошлой ночью?

— Здравствуй, дядя. Что я натворил? Ровным счетом ничего: был с друзьями, клянусь. Святая ночь. Не то что некоторые мои знакомцы — те развлекались в Палермо…

Князь принялся тщательно скоблить трудное местечко между губой и подбородком.

Племянник говорил слегка в нос и в голосе его звучало столько молодого задора, что невозможно было сердиться, князю осталось лишь выразить свое удивление. Он повернул голову и взглянул на племянника, не отнимая полотенца от подбородка.

Танкреди был в охотничьем костюме — щегольская куртка, высокие краги.

— А можно узнать, кто этот знакомец?

— Ты, дядюшка, ты. Собственными глазами видел тебя у заставы возле виллы Айрольди, когда ты разговаривал с сержантом. Ну и дела. В твои-то годы! Да еще в обществе преподобного Пирроне. Остатки былого распутства!

Племянник действительно слишком обнаглел. Считает, что ему все дозволено. Сквозь узкие щели век на князя пристально глядели смеющиеся мутно-голубые глаза, глаза матери Танкреди, его собственные глаза. Князь почувствовал себя оскорбленным: Танкреди и в самом деле не знает удержу; но духа для упреков не хватило; к тому же племянник прав.

— А ты чего так разоделся? Что случилось? Бал-маскарад поутру?

Мальчик стал серьезен, на его треугольном лице неожиданно появилось мужественное выражение.

— Уезжаю, дядюшка, через час уезжаю, зашел проститься с тобой.

Сердце бедного Салина мучительно сжалось.

— Дуэль?

— Да, дядюшка, дуэль серьезная. Дуэль с королишкой Франциско.

— Побойся Бога!

— Я отправляюсь в горы под Фикуццой; не говори об этом никому, особенно Паоло. Большие дела готовятся, дядюшка. Не хочу сидеть дома. Впрочем, останься я дома, меня тотчас же схватят.

Неожиданно перед князем возникло одно из привычных видений: жестокая картина партизанской войны, перестрелка в лесу — и его Танкреди лежит на земле с распоротым животом, как тот несчастный солдат.

— Ты с ума сошел, дорогой! Быть заодно с этими людьми. Все они бандиты и мошенники. Фальконери должен быть с нами, за короля.

Глаза мальчика снова стали смеяться.

— За короля, конечно, но за какого? У племянника один из тех приступов серьезности, которые делают его таким непостижимым, таким милым.

— Если там не будет нас, они преподнесут тебе республику. Раз мы хотим, чтоб все осталось как есть, нужно, чтобы все изменилось. Ты понимаешь?

И он обнял слегка взволнованного дядю.

— До скорой встречи. Вернусь с трехцветным флагом.

Неужто риторика приятелей оказала легкое воздействие и на племянника? Но нет, в голосе его звучали нотки, опровергавшие весь этот пыл. Ну что за мальчик! И бредни и в то же время отрицание этих бредней. А мой Паоло сейчас, должно быть, занят пищеварением своего жеребца Гуискардо. Нет, вот кто мой настоящий сын.

Князь поспешно встал, сорвал с шеи полотенце, порылся в ящике.

— Танкреди, Танкреди, постой!

Он побежал вдогонку за племянником, сунул ему в карман мешочек золотых унций, прижался к его плечу. А тот смеется.

— Ты финансируешь революцию! Ну, дядюшка, спасибо, до скорого! Тетку за меня расцелуй.

И вниз по лестнице бегом.

Снова был призван Бендико, который умчался было вслед за другом, наполняя виллу радостным лаем. Лицо было выбрито, умыто. Появился лакей, чтобы обуть и одеть князя. «Трехцветный флаг. Да здравствует трехцветный флаг! Мошенники и плуты только об этом и кричат. А что же значит сей геометрический рисунок? Просто собезьянничали у французов… Насколько он уродливее нашего белого знамени с золотой лилией на гербе! И что им может обещать вся эта ерунда из кричащих красок?»

Настало время повязать на шею огромный галстук из черного атласа. Нелегкое это занятие, и мысли о политике лучше на время отложить. Один оборот, второй, третий. Огромные деликатные пальцы мастерили складки, разглаживали морщившуюся ткань, прикалывали к атласу головку медузы с рубиновыми глазами.

— Подай чистый жилет! Не видишь, этот в пятнах!

Лакей поднялся на цыпочках, чтоб помочь ему натянуть на себя редингот коричневого сукна; потом подал платок с тремя каплями духов «бергамот». Ключи, часы с цепочкой, деньги он сам положил в карман. Взглянул на себя в зеркало: ничего не скажешь — еще хорош. «Остатки былого распутства!» Тяжеловесные шутки у этого Танкреди! Хотел бы я взглянуть на него в мои годы, что станется к тому времени с этой тощей фигуркой.

От мощных шагов звенели стекла в гостиных, через которые проходил князь. Дом был спокоен, светел, весь украшен, главное, это был его

собственный дом. Спускаясь по лестнице, понял: «Раз мы хотим, чтоб все осталось как есть…» Танкреди — он давно это знал — пойдет далеко.

Комнаты конторы, которые молчаливо заполняло солнце, проникавшее сквозь опущенные шторы, были еще пусты. Хотя именно в этой части виллы совершались наиболее легкомысленные поступки, вид ее отличался спокойной суровостью. Натертый воском пол отражал висевшие на выбеленных стенах огромные картины, изображавшие поместья рода Салина: за черными и золотыми рамами сверкали своими броскими красками полотна, вот остров Салина с двумя горами-близнецами, окруженный кружевом морской пены, а по воде снуют расцвеченные флагами парусники; затем Кверчета со своими низкими домами вокруг приземистой церкви Богоматери, к которой группами тянулись выписанные голубоватой краской богомольцы; и еще Рагаттизи, зажатое меж горных ущелий; и Ардживокале, казавшееся крохотным в бесконечном просторе пшеничных полей, усеянных трудолюбивыми крестьянами; и Доннафугата со своим замком в стиле барокко и башенками, пунцовыми, зелеными, золотистыми, которые, казалось, были украшены женскими фигурками, изображениями бутылей и скрипок; и еще много других поместий, и над всеми надежная защита — спокойное, прозрачное небо и пляшущий Леопард, скрывающий усмешку за длинными усами.

Полотна празднично торжественны, и каждое из них стремится утвердить блеск империи Салина, се право судить и карать. Наивные шедевры деревенского искусства прошлого века — их назначение, однако, лишь определять границы поместий, облегчать подсчет площадей и доходов, так и не установленных точно. За свою многовековую жизнь богатство превратилось в украшение, в предмет роскоши и наслаждений; упразднение феодальных прав привело к отмене обязанностей вместе с привилегиями; богатство, подобно старому вину, оставило где-то на дне осадок в виде алчности, забот, а вместе с тем и осторожности, сохранив лишь крепость и цвет. Тем самым богатство изжило себя; теперь оно состояло лишь из эссенций, которые, подобно всем эссенциям, быстро испарялись. Уже давно улетучились некоторые из этих поместий, столь празднично глядевших с полотен; память о них хранили лишь пестрые картины да сами названия. Другие еще сохранились, но, подобно сентябрьским ласточкам, шумно собирающимся стайками на ветвях

деревьев, готовы были вот-вот улететь. Однако поместий было много; казалось, им никогда не придет конец.

И все же ощущения, испытываемые князем при входе в свой кабинет, были, как всегда, неприятны. Посреди комнаты, словно башня, возвышался огромный письменный стол с десятками ящиков, ниш, углублений, тайников, откидных полочек; эта громада из желтого дерева, с темными инкрустациями, хитроумными ловушками, вращающимися частями и тайными приспособлениями, секрет действия которых был утрачен всеми, кроме воров, чем-то напоминала театральную сцену. Стол был завален бумагами; хоть князь весьма предусмотрительно заботился, чтоб большинство их относилось к далеким областям, подведомственным астрономии, количество бумаг, касавшихся земных дел, все же оказалось достаточным, чтобы наполнить его сердце недовольством. Внезапно он вспомнил письменный стол короля Фердинанда в Казерте, также заваленный бумагами, ждавшими своего решения, — их назначением было создавать иллюзию воздействия на ход человеческих судеб, на деле же поток мчался сам по себе и совсем по другому руслу.

Салина подумал о лекарстве, недавно открытом в Соединенных Штатах Америки; оно позволяло без страданий переносить самые тяжелые операции и пребывать спокойным среди всяких бед. Морфием назвали эту грубую химическую замену стоицизма древних и смирения христиан. Бедному королю призрачное управление государством заменяло морфий; ему, Салине, в тех же целях служило нечто более высокое, предназначенное лишь для избранных: астрономия. Отогнав прочь мысли об утраченном Рагаттизи и о висевшем на волоске Ардживокале, князь погрузился в чтение самого свежего номера «Ученых записок». «Последние наблюдения Гринвичской обсерватории представляют исключительный интерес…»

Однако вскоре ему пришлось расстаться с хладными просторами звездных царств. Вошел дон Чиччьо Феррара, счетовод. То был сухонький человечек, скрывавший свою склонную к иллюзиям хищную душу либерала за внушавшими доверие стеклами очков и безупречными галстуками. Этим утром он выглядел бодрее обычного. Было ясно, что те же известия, которые вчера столь угнетающе подействовали на падре Пирроне, явились для него освежающим бальзамом.

— Печальные дела, ваше превосходительство, — произнес он после обычных приветствий. — Скоро грянет гроза, начнутся беспорядки,

немного постреляют, но затем все пойдет к лучшему, и новые славные времена настанут для нашей Сицилии; нам бы только радоваться, если б многим матерям не пришлось лотом оплакивать своих сыновей.

Князь хмыкнул, не выразив своего мнения.

— Дон Чиччьо, — сказал он немного погодя, — нужно навести порядок в сборе податей в Кверчете; вот уж два года, как оттуда не поступает ни гроша.

— Вся отчетность в порядке, ваше превосходительство. — Это была магическая фраза. — Потребуется лишь написать дону Анджело Мацца, чтоб он принял все необходимые меры; сегодня же представлю письмо на подпись вашему превосходительству. — И он отправился рыться в огромных регистровых книгах. С двухлетним опозданием в них каллиграфическим почерком неукоснительно заносились все счета дома Салина, кроме действительно важных.

Оставшись один, князь медлил погружаться в созерцание туманностей. Не события сами по себе злили его, а глупые мысли дона Чиччьо, с которым он тотчас же отождествил класс, готовившийся к господству. «Все, что говорит сей добрый человек, прямая противоположность истине. Оплакивать сыновей, которым суждено погибнуть; но их-то и будет как раз самая малость, насколько я знаю характер воюющих сторон, — ни одним убитым больше, чем потребуется для составления победной реляции в Неаполе или в Турине, что одно и то же. Ну, а насчет веры в „славные времена для нашей Сицилии“, как он выражается, то их нам обещали по случаю каждого из тысячи десантов, начиная от Никии, но времена эти так и не настали. Впрочем, почему они должны были настать? Ну, а что произойдет теперь? Переговоры, простроченные безобидной перестрелкой, затем все снова будет по-прежнему, меж тем как все переменится». Снова в памяти возникли двусмысленные слова Танкреди, которые он теперь, однако, понял до конца. Князь успокоился, перестал перелистывать журнал. Он разглядывал томимые жаждой, изрытые склоны горы Пеллегрино, извечные, как сама нищета.

Вскоре пришел Руссо, человек, которого князь считал самым значительным из своих подчиненных. Проворный, не без изящества носивший свою куртку из полосатого бархата, этот человек, с глазами, говорившими о жадности, и лбом без следов угрызений совести, был для князя совершенным выражением нового сословия, шедшего в гору. Впрочем, Руссо всегда был почтителен и почти искренне привязан к

князю, ибо, обкрадывая его, пребывал в убеждении, что действует по праву.

— Воображаю, как огорчено ваше превосходительство отъездом синьорине Танкреди; но его отсутствие недолго продлится, я в этом уверен; все кончится хорошо.

Князь снова столкнулся с одной из загадок Сицилии; на этом острове тайн, где дома всегда заперты наглухо, а крестьяне утверждают, что им неведома дорога к собственной деревне, которая виднеется на холме, в пяти минутах ходьбы, — здесь, на этом острове, несмотря на столь упорное желание, показать, что тайн хоть отбавляй, невозможно что-либо сохранить в секрете.

Он знаком велел Руссо сесть и пристально взглянул ему в глаза:

— Пьетро, поговорим как мужчина с мужчиной. Ты тоже замешан в эти дела?

— Нет, — отвечал тот, — не замешан. — (Ведь он отец семейства, а рисковать можно только таким молодым людям, как синьорино Танкреди.) Подумайте сами, смею ли я что-либо утаить от вашего превосходительства, вы мне все равно что отец. (Меж тем три месяца тому назад он утаил от князя на своем складе триста корзин лимонов и знал, что князю об этом известно) Но должен сказать, что сердцем я с ними, с нашими смелыми ребятами.

Он встал, чтобы впустить Бендико; дверь трещала от бурного натиска дружеских изъявлений пса. Потом снова сел.

— Вашему превосходительству известно: дальше так продолжаться не может — обыски, допросы, бумажная волокита из-за каждого пустяка, шпион в каждом углу дома; порядочный человек не волен заниматься своим делом. А в будущем нас ждет свобода, покой, уменьшение налогов, коммерция. Всем нам будет лучше: только попы проиграют. Господь стоит не за них, а за таких бедняков, как — я.

Князь улыбнулся: он-то знал, что именно Руссо через подставное лицо хочет купить Ардживокале.

— Предстоят дни перестрелки и беспорядков, но вилла Салина прочнее скалы, ваше превосходительство, у меня здесь столько друзей! Пьемонтцы войдут сюда лишь со шляпой в руках, чтоб засвидетельствовать почтение вашим превосходительствам. Я не говорю уже, что вы дядя и опекун дона Танкреди.

Князь почувствовал себя униженным: теперь он сознавал, что опустился до степени человека, которому протежируют друзья Руссо; как видно, его единственная заслуга в том, что он дядя молокососа Танкреди. «Через неделю жизнь моя будет в безопасности только благодаря тому, что я держу в доме Бендико. Дойдет и до этого». Он теребил пальцами ухо пса с такой силой, что бедняга завыл от боли, хотя, вне сомнения, и был польщен оказанной ему честью.

Но вскоре кое-какие слова Руссо принесли князю некоторое облегчение.

— Все станет лучше, поверьте мне, ваше превосходительство. Люди умелые и честные смогут выдвинуться. Все остальное останется по-прежнему.

Эти люди, деревенские либералишки, стремились лишь к легкой наживе. Баста, поставим точку. Ласточки улетят быстрее — вот и все. Впрочем, в гнезде их остается еще немало.

— Может, ты и прав, кто знает?

Теперь стал ясен сокровенный смысл всего: загадочные слова Танкреди, риторические речи Феррары, лживые, но столь значительные высказывания Руссо раскрыли ему успокоительную тайну. Немало дел свершится, но все окажется лишь комедией, шумной и романтической, и лишь несколько капель крови останется на шутовском наряде. Эта страна, в которой все улаживается; здесь нет французского неистовства; но, впрочем, и во Франции, если исключить июнь сорок восьмого, тоже ведь ничего серьезного не случилось? Князь хотел было ответить Руссо, но удержала врожденная вежливость. «Я все отлично понял. Вы не хотите уничтожить нас, своих „отцов“. Вы только хотите занять наше место. Хотите сделать это мягко, по всем правилам хорошего тона, быть может, даже сунув нам в карман несколько тысяч дукатов. Не так ли? Твой внук, дорогой Руссо, будет искренне считать себя бароном, а ты, быть может, воспользовавшись своим именем, провозгласишь себя великим герцогом из Московии, хотя на деле имя твое означает лишь, что ты сын русоволосого крестьянина с юга. Но еще прежде дочь твоя выйдет замуж за одного из наших, хоть за того же голубоглазого Танкреди с изнеженными руками. Впрочем, она недурна и, если привыкнет мыться…»

Пусть все останется, как прежде… как сейчас; только незаметная смена сословий, не больше. Мои золотые ключи придворного вместе с вишневой лентой св. Дженнаро должны будут покоиться на дне ящика, — сын Паоло

затем положит их под стекло; но Салина навсегда останутся Салина; и, может, даже получат кое-что взамен: место в сенате Сардинии, фисташковую ленту св. Маврикия. Вздор, все вздор.

Он встал.

— Пьетро, переговори со своими друзьями. Здесь столько девушек. Нельзя допустить, чтоб их напугали.

— Знаю, ваше превосходительство. Уже переговорил: на вилле Салина будет спокойно, как в монастырской обители. — И добродушная усмешка появилась на лице Руссо.

Дон Фабрицио вышел. За ним последовал Бендико. Князь хотел подняться к падре Пирроне, но умоляющий взгляд собаки заставил его спуститься в сад: волнующие воспоминания о превосходных трудах вчерашнего вечера еще тревожили Бендико, и пес, следуя добрым заветам искусства, стремился к их завершению. Сад благоухал еще сильнее вчерашнего, и в лучах утреннего солнца золото акаций не так сильно слепило глаза.

«Ну, а монархи, наши монархи? Что станет с преемственностью, законностью?» Эта мысль взволновала его на мгновение, уклониться от нее было нельзя. На миг он уподобился Мальвика. Столь презираемые им Фердинанды и Франциски вдруг показались старшими братьями, полными доверия, любви, справедливости, стали настоящими королями. Но силы, стоявшие на защите внутреннего спокойствия князя, бдительные его стражи, уже спешили на помощь, держа наперевес мушкеты права и подвозя артиллерию истории. «А Франция? Разве незаконен Наполеон III? Разве французы не живут счастливо при этом просвещенном императоре, который, разумеется, поведет их к вершине славы? Впрочем, давайте разберемся хорошенько. Разве Карл III был так уж на своем месте? И битва у Битонто была вроде той, что произойдет у Бизаквино или Корлеоне, или где-нибудь еще; в этой битве пьемонтцы надают нашим по шеям. Это будет одна из тех битв, которые ведутся за то, чтоб все оставалось таким, как есть. Впрочем, даже Юпитер не был законным правителем Олимпа…»

Совершенно очевидно, что государственный переворот, устроенный Юпитером для свержения Сатурна, должен был вернуть мысли князя к звездам.

Покинув запыхавшегося от стремительного бега Бендико, князь поднялся по лестнице, прошел по гостиным, где дочери вели беседу о подругах

Спасителя (шелковые юбки дочек шуршали при вставании), затем снова поднялся по крутой лестнице и окунулся в потоки голубого света, заливавшие обсерваторию.

Падре Пирроне, храня на лице спокойное выражение священника, отслужившего мессу и выпившего чашку крепкого кофе с печеньем из Монреале, сидел за столом, погруженный в свои алгебраические выкладки. Два телескопа и три подзорные трубы, ослепленные солнцем, мирно покоились в черных чехлах, как звери, хорошо приученные к тому, что корм им дают лишь по вечерам.

Приход князя отвлек падре Пирроне от его расчетов и сразу же напомнил, как дурно с ним обошлись прошлым вечером. Он встал, почтительно поздоровался, — но не сумел удержаться от вопроса:

— Вы пришли исповедоваться, ваше превосходительство?

Князь, после сна и утренних бесед позабывший о ночном приключении, выразил удивление.

— Исповедоваться? Но ведь сегодня не суббота. — Затем припомнил и улыбнулся: — В сущности, падре, в этом даже нет нужды. Вы уже все знаете. — Но настойчивое желание князя сделать его своим сообщником вызвало раздражение иезуита.

— Ваше превосходительство, сила исповеди состоит не только в рассказе о содеянном, но и в раскаянии по поводу совершенных дурных поступков. Покуда же вы к нему не прибегли, не высказали его мне, вы пребудете в смертном грехе, все равно, известны мне или нет ваши поступки. — Иезуит вновь погрузился в свои абстрактные выкладки, старательно сдунув соринку с собственного рукава.

Политические откровения сегодняшнего утра вселили в душу князя столько покоя, что он лишь улыбнулся тому, что в иное время показалось бы ему наглостью. Князь распахнул одно из окошек башни. Природа выставляла напоказ свои красоты. Казалось, что все в ней, поднявшись на дрожжах жгучего солнца, потеряло собственный вес: море вдали стало большим одноцветным пятном, горы, ночью полные опасных ловушек, теперь походили на массы пара, вот-вот готового раствориться, и даже дома мрачного Палермо, притихнув, лежали у подножия монастырей, подобно овцам, льнущим к ногам пастухов. Даже иностранные суда, присланные в ожидании беспорядков и бросившие якорь на рейде, не смогли внести тревогу в это величественное спокойствие. Солнце в то

утро тринадцатого мая, еще далекое от предельного накала, вело себя как подлинный властелин Сицилии: солнце яростное и обнаглевшее, солнце, подобное наркотикам, парализовавшее своими лучами волю человека, солнце, погрузившее все в рабскую неподвижность, в тяжелое оцепенение среди насилия, произвольного, как сновидения.

— Понадобится не один Виктор Эммануил, чтоб изменить состав чудодейственного питья, которое мы здесь глотаем.

Падре Пирроне встал, поправил пояс и подошел к князю, протягивая ему руку:

— Я был чрезмерно резок, ваше превосходительство. Сохраните свою благосклонность ко мне, но внемлите моим словам: вы должны исповедаться.

Лед был сломлен. Князь мог сообщить падре Пирроне о своих политических догадках. Но иезуит был весьма далек от того, чтоб разделить его надежды. Напротив, теперь он стал колюч.

— Словом, вы, знатные господа, хотите за наш счет, за счет церкви пойти на сговор с либералами, да что там с либералами, с настоящими масонами. И ясно, что наше имущество — единственное достояние бедняков — будет расхищено и преступным образом разделено между самыми наглыми из вожаков; кто же тогда подаст кусок хлеба несчастным, которых церковь сегодня еще поддерживает, указуя им путь?

Князь молчал.

— Как же поступят тогда, чтоб успокоить это отчаявшееся стадо? Я скажу вам, ваше превосходительство. Сначала им швырнут на потребу клочок земли, затем второй, а потом и все ваши поместья. Так свершится справедливость господня, хоть и руками масонов. Господь исцеляет больных телом, но где же окажутся слепые духом?

Несчастный иезуит дышал тяжело: искренняя боль при мысли о предстоящем разорении церкви соединилась в нем не только с угрызениями совести — ведь он снова не смог сдержать себя, — но и с опасением оскорбить князя, которого он любил, испытав на себе и бурные проявления его гнева, и безразличную ко всему доброту. Вот почему он теперь сидел, насторожившись, и поглядывал на дона Фабрицио, который щеточкой чистил телескоп и, казалось, был целиком поглощен своим занятием.

Вскоре князь поднялся, тщательно вытер тряпочкой руки; лицо его при этом лишено было всякого выражения; ясные глаза князя как будто внимательно изучали капельки масла, забравшиеся под ноготь. А внизу, вокруг виллы, разливалась, сверкая всеми красками, беспредельно величественная тишина; ее не нарушали, а лишь подчеркивали лай Бендико, где-то в глубине апельсиновой рощи затеявшего ссору с собакой садовника, и глухое, мерное постукивание поварского ножа которым внизу на кухне рубили мясо для обеда. Огромное солнце поглотило людские треволнения и суровость земли. Князь подошел к столу, за которым устроился иезуит, сел рядом с ним и принялся хорошо отточенным карандашом, брошенным священником в минуту раздражения, рисовать пышные бурбонские лилии. Князь глядел серьезно, но настолько спокойно, что опасения падре Пирроне мигом улетучились.

— Мы не слепы, дорогой отец, но мы люди. Мы живем в мире изменчивом и стремимся к нему приспособиться, подобно водорослям, гнущимся под напором морской волны. Святой церкви самым недвусмысленным образом обещано бессмертие; нам же, как социальному классу, оно не дано. Для нас этот паллиатив, который обещает продлиться сто лет, равнозначен вечности. Мы можем еще тревожиться о судьбе наших детей, даже наших внуков, но наши обязательства кончаются теми, кого мы надеемся еще ласкать вот этими руками. Я не хочу ломать себе голову, кем будут мои потомки в тысяча девятьсот шестидесятом году. Церковь — другое дело, церковь должна об этом заботиться: ей суждено бессмертие. В ее отчаянии таится утешение. Не думаете ли вы, что церковь принесла бы в жертву нас, если 6 могла такой ценой спастись сейчас или в будущем? Конечно, церковь пошла бы на это и поступила бы правильно.

Падре Пирроне был рад, что не обидел князя, и сам решил не обижаться. Мысль об «отчаянии церкви» недопустима; но давняя привычка исповедника помогла ему оценить горький юмор дона Фабрицио. И все же собеседнику не следовало торжествовать.

— В субботу, ваше превосходительство, вам надлежит исповедаться мне в двух прегрешениях: вчерашнем плотском грехе и в греховном помышлении сегодня. Помните об этом.

Теперь, когда оба несколько успокоились, настало время обсудить сообщение, которое следовало вскоре послать одной иностранной

обсерватории в Арчетри. Казалось, звезды, поддерживаемые и направляемые цифрами, невидимые в этот час и все же существующие, бороздили эфир, слепо следуя своей траектории. Верные назначенным Свиданиям, кометы привыкли с точностью до последней секунды являться глазам тех, кто их наблюдает. И они не были вестницами катастроф, как полагала Стелла; напротив, их предвиденное появление означало торжество человеческого разума, который рвался ввысь и принимал участие в прекрасной повседневной жизни светил.

«Пусть там внизу Бендико гоняется за деревенской дичью, пусть поварской нож крошит мясо невинных животных. С высоты обсерватории бахвальство Бендико и кровожадность повара сливаются в спокойной гармонии. Подлинная цель — жить жизнью духа, в, ее наивысших проявлениях схожих со смертью».

Так рассуждал князь, забывая о своих всегдашних сомнениях, о вчерашней прихоти собственной плоти. Быть может, за эти минуты отрешенности, когда вновь укреплялась его связь со вселенной, князю отпускалось больше грехов, чем от благословения падре Пирроне.

В то утро божества на потолке и обезьянки на обоях снова должны были молчать полчаса, но в гостиной этого никто не заметил.

Когда звонок, призывающий к обеду, заставил князя с иезуитом спуститься вниз, оба они испытывали умиротворение, не столько от понимания политической конъюнктуры, сколько от сознания, что они взирают на нее с высоты. На вилле Салина воцарилась атмосфера необычайного покоя. Подававшийся в полдень обед — основная за день еда — прошел, благодарение господу, совсем гладко. Представьте, у двадцатилетней дочери князя, Каролины, с шеи прямо в тарелку слетела небрежно приколотая брошь. Инцидент, который в иные дни грозил бы неприятными последствиями, сегодня послужил лишь поводом для общего веселья: даже князь милостиво улыбнулся, когда брат девушки, сидевший рядом с ней, поднял брошь и приколол ее к своему воротнику, где она болталась, как маятник.

Об отъезде Танкреди, месте, куда он отправился, цели его поездки уже было известно всем, и все только об этом и говорили. Один Паоло продолжал есть, храня молчание. Впрочем, кроме князя, затаившего в

глубине сердца легкую тревогу, никто не был взволнован его отъездом; лишь на красивый лоб Кончетты легла тень.

«Должно быть, девушка немного влюбилась в этого плута. Ну, что ж, пара неплохая. Боюсь, однако, что Танкреди метит повыше, то есть я хочу сказать — пониже».

Теперь, когда политическое успокоение разогнало туман, скрывавший природное добродушие князя, это качество смогло проявиться в полной мере.

Желая успокоить дочь, он принялся объяснять, насколько никчемны ружья королевской армии; говорил о недостатках нарезки ствола этих огромных винтовок, о том, какой слабой пробивной силой обладают выпущенные из них пули; то были чисто технические объяснения, вдобавок не очень добросовестные, понятые немногими и никого не убедившие, но тем не менее утешившие всех, включая Кончетту, потому что благодаря им удалось превратить войну из того предельно очевидного грязного хаоса, каким она является в действительности, в чистую диаграмму сил.

К концу обеда подали желе с ромом — любимое сладкое блюдо князя. Княгиня, признательная за доставленное ей утешение, позаботилась заказать его еще рано поутру. Желе походило, на большую грозную башню, окруженную рвами и бастионами, по гладким и скользким стенам которой нельзя было вскарабкаться. Крепость оборонял зелено-красный гарнизон из вишен и фисташек, была она прозрачной, вздрагивала при малейшем прикосновении, и ложка погружалась в нее с поразительной легкостью. Когда благоухающая фортеция добралась до шестнадцатилетнего Паоло, которому за столом подавали последним, она напоминала развороченные глыбы с еще видневшимися бойницами. Упоенный ароматом рома и тонким вкусом раскрашенных защитников крепости, князь насладился вдоволь приняв самое деятельное участие в разрушении мрачной скалы, не устоявшей под натиском Здоровых аппетитов. Один из бокалов князя был до половины наполнен марсалой. Князь поднялся, оглядел всю семью, на мгновение задержавшись на голубых глазах Кончетты.

— За здоровье нашего Танкреди, — сказал он и залпом выпил вино. Буквы «Р. О.», прежде четко выделявшиеся на золотом фоне налитого в бокал вина, теперь совсем потускнели.

В контору, куда он снова спустился после обеда, лучи света теперь падали косо, оставляя в тени картины с изображением поместий, и князю более не пришлось испытывать угрызений совести.

— Ваше превосходительство, благословите, — пробормотали Пасторелло и Ло Нигро, арендаторы из Рагаттизи, принесшие «мясо» — то есть ту часть оброка, которая вносилась натурой. Они стояли перед князем навытяжку и изумленно глядели на него. Их лица были опалены горячими лучами солнца. От них шел запах скотного двора. Князь сердечно побеседовал с крестьянами на своем тончайшем диалекте, расспросил их о семьях, о состоянии скота, о видах на урожай. Затем осведомился:

— А вы что-нибудь принесли?

Покуда они отвечали («Да, все принесено и сложено в соседней комнате»), князь испытал некоторое чувство стыда; ему показалось, что беседа с крестьянами стала повторением аудиенции у короля Фердинанда.

— Подождите минут пять, и Феррара выдаст вам расписки.

Затем он вложил каждому в руку по два дуката, что, вероятно, превышало стоимость принесенного.

— Выпейте по стаканчику за наше здоровье. — И пошел взглянуть на оброк.

На полу лежали четыре головы сыра «первосола» по десять кило в каждой; равнодушно поглядел на него — он терпеть не мог этого сыра; тут же лежало шесть забитых ягнят, последних в этом году; над широкой ножевой раной, из которой несколько часов тому назад ушла жизнь, патетически свисали головы. Брюхо у них тоже было вспорото, лиловые кишки торчали наружу.

— Господи, упокой душу его, — прошептал князь, вспомнив о выпотрошенном солдате, труп которого обнаружили месяц тому назад. С полдюжины куриц, привязанных за лапки, корчились от страха при виде усердно вынюхивавшей морды Бендико.

«Вот еще один пример напрасного страха», — подумал князь. Собака не представляет для них ни малейшей опасности, она и к косточкам их не притронется, знает, что живот заболит.

Однако зрелище крови вызвало в нем отвращение.

— Ты, Пасторелло, отнесешь куриц на курятник, в кладовой сейчас нет в них нужды; в другой раз ягнят занесешь прямо на кухню, здесь от них

грязь. А ты, Ло Нигро, отправляйся к Сальваторе, скажи, чтоб пришел сюда прибрать да унес сыр. И окно открой, пусть хорошенько проветрится.

Затем появился Феррара, который приготовил расписки.

Поднявшись к себе, князь застал Паоло, своего первенца, герцога Кверчета, который ждал его в кабинете, где князь обычно отдыхал после обеда на красном диване. Молодой человек собрал все свое мужество и хотел поговорить с ним. Низкого роста, худенький, с лицом оливкового цвета, он казался старше отца.

— Я хотел спросить тебя, папа, как нам держаться с Танкреди, когда мы свидимся? Князь сразу все понял и вскипел.

— Что ты хочешь этим сказать? Что изменилось?

— Но, папа, ты же, конечно, не можешь одобрить его поступка: он отправился к этим, мошенникам, которые взбаламутили всю Сицилию; так не поступают.

Личная зависть, злоба труса, направленная против смельчака, ненависть тупицы к живому уму, прикрытые одеждой политических доводов! Князь был настолько возмущен, что даже не предложил сыну сесть.

— Лучше делать глупости, чем с утра до вечера любоваться лошадиным пометом. Танкреди мне дороже прежнего. Кстати, это не глупости. Если ты когда нибудь сможешь заказать себе визитные карточки с именем герцога Кверчета, а я, уходя, завещаю тебе несколько грошей, то этим ты будешь обязан Танкреди и ему подобным. Убирайся, я тебе больше не разрешаю со мной говорить об этом. Здесь я один распоряжаюсь. — Потом, успокоившись, сменил гнев на иронию. — Иди же, Паоло, а я лучше сосну. Пойди побеседуй о политике с жеребцом Гуискардо, вы друг друга поймете.

Пока онемевший Паоло прикрывал за собой дверь, князь скинул редингот, снял сапоги, и диван застонал под тяжестью его грузного тела; вскоре он заснул мирным сном.

Когда он проснулся, вошел лакей: на подносе лежала газета и письмо. Их направил ему с только что прибывшим из Палермо нарочным, шурин Мальвика. Еще не успев очнуться от послеобеденного сна, князь распечатал письмо.

«Дорогой Фабрицио. Пишу тебе в состоянии безграничного отчаяния. Прочти о страшных вещах, опубликованных в газете. Пьемонтцы высадились. Мы все погибли. Нынешним вечером я со всем семейством скроюсь на английском корабле. Ты, конечно, пожелаешь поступить, как и я; оставлю для тебя места. Да спасет господь нашего обожаемого короля. Целую. Твой Чиччьо».

Он сложил письмо, спрятал его в карман и громко расхохотался. Ну и Мальвика! Кроликом был, кроликом остался. Ничего не понял и теперь дрожит от страха. Оставляет замок в руках слуг; на этот раз он действительно застанет его опустошенным!

«Нужно, чтоб Паоло отправился в Палермо; в такие времена забросать дом все равно, что его потерять. Поговорю с ним за ужином».

Затем открыл газету: «Акт очевиднейшего пиратства был совершен одиннадцатого мая, когда на пляже у Марсалы высадились вооруженные люди. Из последующих сообщений стало ясно, что высадившаяся банда не превышает восьмисот человек и командует ими Гарибальди. Едва сии флибустьеры сошли на землю, как они, тщательно избегая столкновений с королевскими войсками, направились в сторону Кастельветрано, угрожая мирным гражданам, совершая грабежи, причиняя разрушения и т. д. и т. п.»

Имя Гарибальди его немного встревожило. Этот заросший волосами бородатый авантюрист был, несомненно, приверженцем Мадзини. Такой может натворить бед. «Но раз уж его направил сюда сам Благородный, сам король Пьемонта, значит, он решил на него положиться. На Гарибальди наденут узду».

Князь успокоился. Причесался, дал надеть на себя редингот и сапоги. Газету сунул в ящик. Час молитвы был уже близок, но гостиная еще пустовала. Он уселся на диван и погрузился в ожидание; неожиданно он заметил, что Вулкан на потолке походит на литографии Гарибальди, виденные им в Турине. Князь улыбнулся. «Обведут его вокруг пальца».

Семья собиралась: Шуршал шелк юбок. Самые молодые перебрасывались шутками. Слышно было, как за дверью слуги ворчали на Бендико, который отстаивал свое право присутствовать на молитве.

Луч солнца с дрожащими в нем пылинками освещал лукавых обезьянок на стенах.

Князь опустился на колени.

— Слава тебе, мадонна, матерь милосердная.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Поездка в Доннафугату. — Отдых в пути. — Кое-что о делах, предшествовавших поездке, и ее описание. — Прибытие в Доннафугату. — В храме. — Дон Онофрио Ротоло. — Беседа в ванной. — Фонтан Амфитриты. — Неожиданное происшествие перед обедом. — Обед и различная реакция на него. — Дон Фабрицио и звезды. — Посещение монастыря. — О том, что можно увидеть из окна.

Август 1860

— Деревья! Видны деревья!

Этот возглас, прозвучавший в первой коляске, донесся до четырех остальных экипажей, почти невидимых в клубах белой пыли; на потных лицах, прильнувших к окошкам, появилось выражение усталого удовлетворения.

Сказать по правде, было-то всего три дерева, да и то эвкалипты, самые уродливые из порожденных матерью-природой. Но ведь это первые деревья, показавшиеся после шести утра, когда семейство Салина покинуло Бизаквино. Теперь одиннадцать, и во время этого пятичасового пути им попадались одни лишь голые горбы холмов, сверкавшие своей желтизной в лучах солнца. Рысь на ровных участках дороги внезапно сменялась долгими, трудными подъемами и осторожным спуском под гору; но езда шагом или рысью равно сопровождалась непрестанным звоном колокольчиков, который воспринимался теперь как звуковое выражение накаленного солнцем мира, раскинувшегося кругом.

Путники миновали деревни, дома которых были выкрашены в нежно-голубые лучистые тона, пересекли высохшие до дна реки, проехали по причудливо-великолепным мостам, оставив позади нависшие в отчаянии скалы, которых не смогли утешить кусты сорго и дрока.

Ни деревца, ни капли воды вокруг, лишь пыль да солнце. В колясках с опущенным верхом жара, должно быть, достигала пятидесяти градусов.

Томимые жаждой деревья, словно взывавшие о пощаде протянутыми к поблекшему небу ветвями, говорили о многом: они, например, рассказывали, что осталось меньше двух часов до конца пути; что

начались земли, принадлежавшие семейству Салина, что скоро можно будет позавтракать и, быть может, даже умыться ржавой водой из колодца.

Десять минут спустя они подъехали к ферме Рампинцери — огромному сараю, в котором лишь один месяц в году обитали батраки вместе с мулами и другим скотом, пригонявшимся сюда на уборку урожая. На крепких, но уже проломленных воротах виднелся каменный пляшущий леопард, ловким ударом камня кто-то изуродовал ему обе лапы; неподалеку от сарая расположен глубокий колодец, который и стерегли эвкалипты; колодец молча предлагал услуги, на какие был только способен — а он мог служить людям для купанья, быть местом водопоя для скота, наконец тюрьмой, кладбищем. Он утолял жажду, был рассадником тифа, оберегал когда-то взятых арабами в плен христиан, он же хранил в своих недрах трупы животных и людей, пока они не превращались в безвестные и отполированные до гладкости скелеты.

Из колясок вышло все семейство Салина — князь, которого веселила мысль о скором прибытии в излюбленную им Доннафугату; княгиня, раздраженная и вялая, однако черпавшая утешение в спокойствии мужа; усталые девицы; мальчики, настолько возбужденные новизной обстановки, что их не смогла укротить даже жара; мадемуазель Домбрей, француженка-гувернантка, совершенно раскисшая, она то и дело стонала: «Mon Dieu, c`est pire qu`en Afrique» (Боже мой, Боже мой, это хуже чем в Африке), обтирая пот со своего вздернутого носика и вспоминая годы, проведенные в Алжире при семье маршала Гужо; падре Пирроне, который, начав в пути чтение евангелия, вскоре задремал, и дорога промелькнула для него незаметно; теперь он был бодрее всех остальных; горничная и два лакея — все люди городские, которых раздражали непривычные картины деревенской жизни; и, наконец, Бендико, выскочивший из последней коляски и громко выражавший свое возмущение мрачными пророчествами ворон, круживших совсем низко в ярких лучах солнца.

Ресницы, губы, шлейфы платьев — все покрывала мелкая пыль; белые облачка окутывали путников, когда они, добравшись до привала, старательно помогали друг другу отряхнуться.

Среди пыли, грязи и неумытых лиц блистал своей изящной элегантностью Танкреди. Он ехал верхом и, прибыв на ферму за полчаса до всего каравана, успел отряхнуть с себя пыль, почиститься, переменить свой белый галстук.

Черпая из колодца воду, имевшую столь разнообразное назначение, он мельком заглянул в зеркальную поверхность ведра и, увидев свое отражение, убедился, что у него все в порядке.

Правый глаз Танкреди закрывала черная повязка, которая теперь служила не столько для лечения, сколько напоминала о ране, полученной им в боях у Палермо три месяца тому назад, а левый, темно-голубого цвета, казалось, сосредоточил в себе все лукавство временно выбывшего из строя правого; пунцового цвета шарф, повязанный Танкреди поверх галстука, скромно напоминал о красной рубашке, которую ему пришлось носить.

Сначала он помог княгине выйти из коляски, затем смахнул пыль с цилиндра князя, угостил карамелью кузин и шлепками младших кузенов, едва не бросился на колени перед иезуитом, обменялся бурными восторженными излияниями с Бендико, утешил мадемуазель Домбрей, словом всех растормошил и очаровал.

Кучера медленно прогуливали по кругу лошадей, чтоб дать им остыть перед водопоем; лакеи расстилали скатерти на соломе, оставшейся после жатвы, в тени, падающей прямоугольником от сарая.

Неподалеку от услужливого колодца приступили к Завтраку. А вокруг переливались волнами печальные поля, желтели нескошенные травы, чернела выжженная Земля, и плач стрекоз наполнял воздух, словно хриплый стон сожженной солнцем Сицилии, которая к концу августа тщетно ждет дождей.

Час спустя, подкрепившись, все снова отправились в путь. Хотя усталые лошади шагали теперь еще медленнее, последняя часть дороги промелькнула куда быстрее; ехали уже знакомыми местами, и кругом все казалось не таким суровым. Узнавались всевозможные местечки, цель прогулок и пикников в прежние годы; вот овраг Драгонары, перекресток Мизилбези; значит, скоро и часовая милосердной Мадонны — самая далекая цель пеших хождений из Доннафугаты.

Княгиня уснула. Князь, один разделявший с ней просторную коляску, блаженствовал. Никогда еще возможность провести три месяца в Доннафугате так сильно не радовала его, как теперь, в эти последние августовские дни тысяча восемьсот шестидесятого года. И не только потому, что в Доннафугате ему были дороги дом, люди и то чувство

уважения к феодальной собственности, которое у этих людей сохранилось, но еще и оттого, что в отличие от прошлых поездок он без всякого сожаления думал о мирных вечерах в обсерватории и о случайных визитах к Марианнине.

Говоря совершенно искренне, картина, которую являло собой Палермо в эти последние три месяца, вызывала у князя некоторое отвращение. Ему хотелось бы возгордиться, ведь он единственный понял, куда идут деда, и сумел доброжелательно встретить «буку» в красной рубашке; впрочем, вскоре ему пришлось убедиться, что ясновидение не было монополией семейства Салина. Все жители Палермо, казалось, были счастливы; все, кроме горсточки простофиль, вроде его шурина Мальвика, который дал себя схватить полиции Диктатора (Гарибальди в сентябре 1860 году после освобождения всей Южной Италии был провозглашен Диктатором) и десять суток просидел в арестантской, или его собственного сына Паоло, столь же недовольного, но более осторожного, покинувшего Палермо после того, как был вовлечен в какой-то детский заговор. Все остальные выставляли напоказ свою радость, разгуливали с трехцветным знаком на воротниках, с утра До вечера принимали участие в шествиях, а главное — болтали, витийствовали, декламировали; если в самые первые дни оккупации вся эта шумиха еще имела известный смысл — приветствия, которыми на главных улицах встречали немногочисленных раненых, вопли шпиков бурбонской полиции, пытаемых в переулках то теперь, когда раненые излечились, а уцелевшие шпики успели завербоваться в новую полицию, весь этот карнавал, по мнению князя неизбежный и необходимый, казался ему глупым и плоским. Впрочем, он соглашался, что это было лишь поверхностным проявлением дурного воспитания: сущность же дела — положение экономическое и социальное — его удовлетворяла и вполне соответствовала всем его предвидениям.

Дон Пьетро Руссо сдержал свое слово: вблизи виллы Салина не раздалось ни одного ружейного выстрела; если в палермском замке пропал большой сервиз китайского фарфора, то объяснялось это исключительно легкомыслием Паоло, велевшего уложить его в две корзины, которые он оставил во дворе на время артиллерийского обстрела, что явилось прямым призывом к упаковщикам утащить его.

Пьемонтцы (князь по-прежнему ради самоуспокоения именовал их пьемонтцами, подобно тому как другие звали их попросту гарибальдийцами, чтобы возвеличить, либо гарибальдийским сбродом — из желания унизить) явились к нему если не со шляпой в руках, как было

предсказано, то по крайней мере поднеся руку к козырьку своих огромных фуражек, впрочем, столь же поношенных и мятых, как и головные уборы бурбонских офицеров.

Танкреди успел за двадцать четыре часа предупредить князя о визите в замок двадцатого июля генерала в красном мундире с черными галунами. Сопровождаемый своим адъютантом, генерал любезно попросил разрешения полюбоваться фресками на потолках. Такое разрешение было предоставлено незамедлительно, ибо двадцати четырех часов оказалось достаточно, чтоб удалить из гостиной портрет короля Фердинанда II в парадной форме, заменив его вполне нейтральным изображением «Иерусалимской купели», чем равно достигалась выгода эстетическая и политическая.

Генерал, бойкий тосканец лет тридцати, оказался болтуном и фразером, но вместе с тем хорошо воспитанным и даже приятным человеком, который держал себя с должным почтением и, обращаясь к князю, даже именовал его «ваше превосходительство» вопреки одному из первых декретов Диктатора; адъютант, девятнадцатилетний молокосос, миланский граф, очаровал девушек своими до блеска сверкающими сапогами и грассирующим «р». Вместе с ними явился Танкреди, произведенный на поле боя в капитаны; слегка похудевший от болей, вызванных раной, он стоял посреди гостиной в красном мундире, стараясь показать свою близость к победителям, что подчеркивалось взаимным «ты» и обращениями вроде «мой храбрый друг», которые «люди с континента» произносили го всем пылом юности, меж тем как Танкреди отвечал слегка в нос, и князь улавливал в его голосе скрытую иронию. Сам князь снизошел к ним с высот своей изысканной вежливости, но гости действительно сумели и развлечь его и полностью успокоить.

Итак, три дня спустя оба «пьемонтца» были званы к ужину; и можно было наблюдать, как мило Каролина, сидя за роялем, аккомпанировала генералу, который отважился спеть в честь Сицилии «Узнаю вас, сердцу милые места», а Танкреди сосредоточенно переворачивал страницы нот, словно для этой цели никогда не существовало палочек.

Тем временем миланский графчик, полулежа на софе, беседовал с Кончеттой о цветении апельсиновых деревьев и открывал ей глаза на существование некоего Алеардо Алеарди; девушка делала вид, будто слушает его, а между тем не сводила огорченного взгляда с худого, словно

воскового лица Танкреди, которое при свете свечей у рояля казалось еще более изможденным, чем было на самом деле.

Вечер прошел в обстановке совершенной идиллии, а за ним последовали другие столь же сердечные вечера; однажды за ужином генерала попросили озаботиться тем, чтобы указ об изгнании иезуитов не был применен к падре Пирроне, человеку пожилому и обремененному болезнями; генерал, который уже проникся симпатией к этому превосходному священнику, сделал вид, будто поверил в его бедственное состояние; приложив немало усилий, переговорив со своими влиятельными друзьями, он добился, что Пирроне был оставлен. Это еще в большей степени подтвердило князю правильность его прогнозов.

Генерал оказался весьма полезным человеком и в сложнейшем деле с пропусками, которые нужны были для желающих сняться с места в те бурные времена. В значительной мере семейство Салина обязано именно генералу тем, что и в этот год революции смогло наслаждаться жизнью в своем отдаленном имении.

Новоиспеченный капитан добился месячного отпуска и уехал вместе с дядей и теткой.

Приготовления к поездке семейства Салина и хлопоты о получении пропусков оказались долгими и нелегкими. Пришлось на самом деле вести сложные и уклончивые переговоры в конторе, а затем с «влиятельными лицами» в Агридженто, причем все кончилось улыбками, рукопожатиями и звоном монет. Таким путем удалось получить второй, имевший большую силу пропуск впрочем, способ этот не отличался особой новизной. Потом следовало упаковать горы багажа, всякой провизии и за три дня выслать вперед часть поваров и слуг. Необходимо было также уложить небольшой телескоп и убедить Паоло остаться в Палермо.

После этого можно было отъезжать; генерал и лейтенантик с цветами в руках пришли пожелать счастливого пути. Когда экипажи отъехали от виллы Салина, в воздухе еще долго мелькали два красных рукава, из окошка коляски показался черный цилиндр князя, но ручка в перчатке из черных кружев, которую так надеялся увидеть молоденький граф, покоилась на коленях у Кончетты.

Путешествие длилось более трех дней и было ужасным. Пресловутые сицилийские дороги, из-за которых князь Сатриано лишился

наместничества, превратились в еле заметную колею, пролегшую среди рытвин и густого слоя пыли.

Первая ночь, проведенная в Маринео, в доме знакомого нотариуса, была еще сносной, но вторая, на постоялом дворе в Прицци, прошла в мучениях — пришлось расположиться по трое на кроватях, где кишмя кишели насекомые. Третью ночь провели в Бизаквино; правда, клопы здесь отсутствовали, но взамен князь обнаружил тринадцать мух в стакане гранатового сока; тяжкий запах испражнений шел как с улицы, так и из соседней комнаты, служившей амбаром. У князя это вызвало тягостный сон; проснувшись с первыми лучами солнца, весь в поту, среди смрада, он не мог удержаться от сравнения этой отвратительной поездки с собственной жизнью: вначале веселые долины, затем обрывистые склоны гор и грозные ущелья, ведущие в бескрайнюю равнину с нескончаемыми волнистыми холмами, пустынную, как само отчаяние. Что может быть хуже таких мыслей, когда они рано поутру приходят в голову уже немолодому человеку; князь знал, что мысли эти неизбежно растворятся в дневных заботах, но переживал их остро и мучительно: он был достаточно опытен и понимал, что глубоко в душе от таких размышлений остается осадок тоски, которая, накопляясь с каждым днем, становится в конце концов подлинной причиной смерти.

При свете солнца эти чудовища притаились в области подсознательной. Теперь уже недалеко и Доннафугата с ее замком, с ее журчащими водами, священной памятью о предках и всем, что напоминало о непреходящих днях детства.

И люди там хорошие — преданные и простые.

Но и тут подстерегала коварная мысль: ведь после недавних «событий» они могут оказаться не столь преданными, как прежде.

Что ж, посмотрим!

Теперь уже совсем близко. За окном кареты показалось склоненное к ним насмешливое лицо Танкреди.

— Дядя, готовьтесь, через пять минут прибудем!

Танкреди обладал слишком большим тактом, чтобы первым появиться в деревне. Он задержал своего коня и шагом въехал в деревню рядом с первой каретой.

За небольшим мостом, ведшим к деревне, их поджидали представители власти, окруженные несколькими десятками крестьян. Как только коляски появились на мосту, деревенский оркестр в бешеном порыве грянул «Цыгане мы…» — первое странное и все равно милое сердцу приветствие, которым вот уж столько лет Доннафугата встречала своего князя, — и вслед за этим по сигналу мальчишек караульных зазвонили колокола церкви Богоматери и монастыря Святого духа, наполняя воздух торжественно-веселыми звуками.

«Слава Богу, как будто все по-старому», — подумал князь, вылезая из коляски.

Здесь собрались дон Калоджеро Седара, мэр, украшенный трехцветной лентой, столь же блистательно новой, как и его должность; монсеньер Троттолино с обожженной солнцем физиономией, дон Чиччьо Джинестра, нотариус, капитан национальной гвардии — при полном параде, в шляпе с перьями; был здесь и дон Тото Джамбоно, медик, и маленькая Нунция Джарритта, которая преподнесла княгине растрепанный букет цветов, впрочем, срезанных всего лишь за полчаса в саду при замке. Был здесь и Чиччьо Тумео, органист собора, который, строго говоря, не обладал рангом, достаточным, чтобы присоединиться к властям, — он явился как друг князя и его товарищ по охоте. Его осенила счастливая мысль: желая порадовать князя, он захватил с собой Терезину, гончую огненно-красной масти с двумя орехового цвета отметинами над глазами; смелость органиста была вознаграждена особо благосклонной улыбкой дона Фабрицио. Князь пребывал в превосходном расположении духа и был искренне растроган; вместе с супругой он вышел из коляски, чтобы поблагодарить за встречу; под несмолкаемую музыку Верди и неистовый звон колоколов он расцеловался с мэром и пожал всем остальным руку. Толпа крестьян словно онемела, но в их неподвижных взорах можно было прочесть скорее любопытство, чем враждебность; обитатели Доннафугаты в самом деле испытывали некоторую привязанность к своему снисходительному синьору, который частенько забывал взимать оброк или невысокую арендную плату. Да к тому же, привыкнув видеть усатую морду леопарда на фронтоне замка и церкви, на барочных фонтанах, майоликовых плитах домков, они рады были теперь лицезреть подлинного Леопарда в брюках из пике, который дружески похлопывал всех своей лапой и усмехался с добродушной кошачьей любезностью.

«Нет, ничего не скажешь. Все как прежде — даже лучше, чем прежде…»

На Танкреди тоже смотрели с любопытством. Все его давно знали, но сейчас он предстал словно преображенный: теперь он уже не тот отчаянно смелый мальчик, какой им был хорошо знаком, а либерал-аристократ, попутчик Розолино Пило, получивший славную рану в боях под Палермо.

Танкреди среди этих шумных изъявлений восторга чувствовал себя как рыба в воде: деревенские поклонники его по-настоящему развлекали, он говорил с ними на их диалекте, шутил, посмеивался над собой и над своей раной; и только произнося имя генерала Гарибальди, менял тон: тогда на лице его появлялось то сосредоточенное выражение, какое бывает у молодого клирика при взгляде на святые дары.

Дону Калоджеро Седара, о плодотворной деятельности которого в дни освобождения он слышал мельком, Танкреди сказал звонким голосом:

— О вас, дон Калоджеро, Криспи говорил мне много хорошего.

После чего он подал руку кузине Кончетте и удалился, оставив всех в неописуемом восторге.

Коляска со слугами, детьми и Бендико проследовала прямо к замку, что до остальных путников, то они, согласно исконному обычаю, должны были прослушать «Te deum» в соборе, перед тем как переступить порог дома. Собор был в двух шагах, и все направились к нему; вновь прибывшие выглядели внушительно, хотя и были покрыты пылью с головы до пят, представителя местных властей сверкали чистотой, но вид у них был приниженный.

Шествие возглавлял дон Чиччьо Джинестра, который, пользуясь привилегией своего мундира, расталкивал толпу, освобождая проход; за ним шествовал князь под руку с княгиней — теперь он походил на сытого, прирученного льва; потом следовал Танкреди, ведя под руку Кончетту, глубоко взволнованную мыслью, что идет в церковь рядом с кузеном, и ежеминутно готовую расплакаться от умиления; в этом душевном состоянии ей вряд ли становилось легче оттого, что заботливый юноша сильно прижимал к себе ее руку с единственной, впрочем, целью помочь ей избежать рытвин и не дать поскользнуться на отбросах, которыми был усеян путь.

За этой парой в беспорядке двигались все остальные. Органист поспешно удалился, дабы успеть отвести домой суку Терезину и очутиться на своем посту в минуту входа в собор.

Колокола не переставали неистово звонить, а надписи на домах: «Да здравствует Гарибальди!», «Да здравствует король Виктор!», «Смерть королю Бурбону!», сделанные два месяца назад неопытной кистью, поблекли и, казалось, хотели скрыться внутри стен.

Когда подымались по лестнице, раздался салют из мортиры; а при появлении кортежа в церкви дон Чиччьо Тумео, который запыхался от бега, но прибыл вовремя, со всей силы грянул «Люби меня, Альфред…»

Храм предков наполнили любопытные, которые теснились среди приземистых колонн из красного мрамора; семейство Салина уселось на хорах, и на протяжении краткой службы дон Фабрицио показывал себя толпе во всем своем великолепии; княгиня чуть не упала в обморок от жары и усталости, а Танкреди удалось не-несколько раз коснуться золотистой головки Кончетты — он якобы отгонял мух. Словом, все было в порядке; после краткого, но поучительного слова монсеньера Троттолино все склонились перед алтарем и затем направились к выходу, за которым их ждала залитая беспощадным солнцем площадь.

На нижней ступеньке лестницы представители властей распрощались, и княгиня, которая еще во время службы шепотом отдавала хозяйственные распоряжения, пригласила к обеду мэра, монсеньера Троттолино и нотариуса. Священник был холост в силу своей профессии, нотариус остался холостяком по призванию, и, значит, вопрос о приглашении супруг отпадал сам собой, мэру же довольно прохладно дали понять, что приглашение распространяется и на его жену, красавицу-крестьянку, которую, однако, сам супруг считал по многим соображениям совершенно непрезентабельной; вот почему никого не удивило, когда он сослался на ее нездоровье; но при этом он добавил, к вящему изумлению всех:

— Если ваши превосходительства разрешат, то я приведу свою дочь Анджелику. Вот уже с месяц, как она только и говорит о том, какое счастье для нее будет, когда вы ее увидите уже совсем взрослой.

Согласие, конечно, было дано, а князь, увидев, что Тумео выглядывает из-за чьей-то спины, громко сказал:

— И разумеется, вы, дон Чиччьо; приходите с Терезиной.

Обращаясь ко всем остальным, князь добавил:

— А после обеда, часам к девяти, будем счастливы видеть всех друзей.

В Доннафугате еще долго обсуждали эти его последние слова.

Князь нашел, что Доннафугата совершенно не изменилась, но Доннафугата нашла князя сильно изменившимся — ведь прежде он никогда не употреблял столь сердечных выражений, — с этой-то минуты начался невидимый упадок его престижа.

Замок Салина находился рядом с собором. Узкий фасад с семью окнами, выходившими на площадь, не давал представления о его настоящих размерах, ибо замок простирался еще на двести метров вглубь; благодаря трем обширным дворикам, переходившим затем в большой сад, замок объединил в одно гармоническое целое постройки самых различных стилей. У главного входа в замок, на площади, путешественникам пришлось снова услышать поздравления с приездом и приветствия. Дон Онофрио Ротоло, местный управляющий, не принимал участия в официальной встрече при въезде в деревню. Воспитанный в строжайшей школе графини Каролины, он считал, что «черни» словно не существует, а князь как бы находится за границей до той минуты, пока не переступит порог собственного замка. Вот отчего он ждал их здесь, в двух шагах от входа, маленький, старенький человечек с бородкой, рядом с которым стояла его еще молодая и рослая жена. За спиной управляющего выстроились слуги и восемь полевых стражников с вышитым на шапках золотым леопардом. У каждого в руках было ружье — далеко не всегда безобидное.

— Счастлив приветствовать ваши превосходительства в вашем доме. Передаю вам замок в том виде, в каком он был оставлен.

Дон Онофрио Ротоло был одним из немногих людей, пользовавшихся уважением князя, и, пожалуй, единственным, кто ни разу его не обокрал. Честность его граничила с безумием и о нем рассказывали весьма любопытные истории; так, например, вспоминали о рюмке с ликером, которую княгиня оставила недопитой в минуту отъезда и обнаружила ее год спустя на том же месте, причем содержимое рюмки уже испарилось и на дне образовался сахаристый осадок, но к ней никто не притронулся: ведь и это мельчайшая частица княжеского достояния, и она не должна быть утрачена.

Покончив с любезностями дона Онофрио и жены его донны Марии, княгиня, которая держалась на ногах лишь в силу нервного напряжения, тотчас же легла в постель; девизы вместе с Танкреди убежали в теплую тень сада, а князь с управляющим обошел большой зал для приемов. Все

оказалось в полнейшем порядке; с картин в тяжелых рамах была вытерта пыль, позолота старинных переплетов горела скромным пламенем, в ярких лучах солнца сверкал серый мрамор над дверьми. Все находилось в том же состоянии, что и пятьдесят лет назад. Покинув шумный водоворот гражданских распрей, дон Фабрицио почувствовал прилив сил; он был полон спокойной уверенности и почти с нежностью поглядывал на дона Онофрио, который рысцой поспешал за князем.

— Дон'Нофрио, вы действительно один из тех гномов, что стерегут сокровища. Наша признательность вам велика. — В другое время князь испытал бы те же чувства, но эти слова не сорвались бы с его уст.

Дон Онофрио взглянул на него с благодарностью и удивлением.

— Долг, ваше превосходительство, долг, — чтобы скрыть волнение, он почесывал у себя за ухом длинным ногтем левого мизинца.

Затем управляющий был подвергнут пытке чаем. Дон Фабрицио велел принести две чашки, и управляющему пришлось выпить ненавистный напиток. Потом он принялся излагать хронику Доннафугаты: две недели тому назад возобновлен договор на аренду поместья Аквила — на условиях, чуть похуже прежних; немалые расходы были вызваны починкой потолков в комнатах, предназначенных для гостей; но в кассе сумма в три тысячи двести семьдесят пять унций, оставшихся за вычетом всех расходов, уплаты налогов и его собственного жалованья, ожидала распоряжений его превосходительства.

Затем пошли новости частные, которые сосредоточились вокруг главного события года: быстрого роста богатства дона Калоджеро Седара; шесть месяцев тому назад, истек срок займа, предоставленного им барону Тумино, и вот теперь он владелец его земель. За тысячу одолженных унций он стал собственником угодий, приносивших пятьсот унций годового дохода; в апреле он за кусок хлеба смог приобрести «полоску» земли, а на этой «полоске» находилась каменоломня с очень ценными породами, которые он теперь намерен добывать; в минуты полной растерянности и нехватки продовольствия, наступившие после высадки десанта, ему удалось заключить необыкновенно выгодные для себя сделки на продажу пшеницы. В голосе дона Онофрио звучала досада.

— Я прикинул на пальцах, доходы дона Калоджеро скоро догонят доходы вашего превосходительства здесь, в Доннафугате.

Наряду с богатством росло и политическое влияние: Седара стал заправилой либералов в деревне и во всей округе и был уверен, что его выберут и пошлют депутатом в Турин.

— А до чего они задаются, не сам Седара — он слишком хитер, — а, к примеру, его дочь: вернулась из колледжа Флоренции и теперь расхаживает по деревне в широченных юбках и с бархатными лентами на шляпке.

Князь молчал. «Да, эта дочь его, Анджелика, придет сегодня вечером к обеду; любопытно взглянуть на принарядившуюся пастушку. Неверно, будто здесь ничего не изменилось: дон Калоджеро теперь не беднее меня! Но ведь в конце концов все это предусмотрено: это и есть цена, которую надо уплатить…»

Молчание князя обеспокоило дона Онофрио; он решил, что своими россказнями о деревенских пересудах вызвал недовольство хозяина.

— Ваше превосходительство, я подумал, что вам неплохо принять ванну, должно быть, она готова.

Дон Фабрицио внезапно ощутил усталость. Было уже почти три часа, а он после такой тяжкой ночи девять часов провел под жгучими лучами солнца! Князь чувствовал, что пыль забилась в каждую мельчайшую пору его тела.

— Спасибо, дон'Нофрио, что вы об этом подумали, и за все остальное спасибо. Увидимся вечером за ужином.

Он поднялся по внутренней лестнице; прошел через комнату гобеленов, через голубую, потом через желтую гостиную; сквозь опущенные жалюзи пробивался свет, из его кабинета доносился приглушенный бой маятника часов Булле. «Какой покой! Господи, какой покой!» Вошел в ванную, тесноватую, побеленную известкой комнату; посреди комнаты в полу, выложенном шершавыми кирпичами, виднелось отверстие для стока воды. Сама ванна — огромный сосуд овальной формы из листового, покрытого лаком железа, желтого снаружи и серого изнутри, — возвышалась на четырех прочных деревянных подставках. На гвозде, вбитом в стену, висел халат, на одном из веревочных стульев лежало белье, на другом покоился костюм, еще хранивший следы пребывания в сундуке. Рядом с ванной большой кусок розового мыла, щетка соответствующих размеров и завязанный узелком платок с отрубями — сюит их намочить, и

засочится ароматное молоко; тут же огромная губка, одна из тех, которые ему присылал управляющий поместья Салина.

Сквозь не завешенное окно в ванную врывались безжалостные лучи солнца.

Князь хлопнул в ладоши; вошло двое слуг, каждый нес по два наполненных до краев ведра: в одном был кипяток, в другом — холодная вода; так они ходили взад и вперед, пока не наполнили ванну. Князь рукой попробовал воду — хороша. Отослал слуг, разделся, погрузился в ванну. Вытесненная непомерно большим телом, вода полилась через край. Намылился, соскреб грязь; от тепла стало легко и хорошо. Он разнежился и чуть не задремал.

Раздался стук в дверь.

Мими, лакей, вошел с опаской.

— Падре Пирроне просит разрешения тотчас же видеть ваше превосходительство. Он ждет здесь, рядом, когда ваше превосходительство выйдет из ванной.

Князь был застигнут врасплох: если случилась беда, лучше узнать о ней сразу.

— Нет, впустите его сейчас же.

Дон Фабрицио был встревожен поспешностью падре Пирроне; отчасти по этой причине, отчасти же из уважения к его духовному сану он торопливо вылез из ванны, чтобы успеть набросить на себя халат, прежде чем войдет иезуит. Однако ему не повезло: падре Пирроне появился как раз в ту минуту, когда он, не будучи более укрыт мыльной пеной и не успев еще облачиться в халат, возвышался посреди ванной в чем мать родила, подобно Геркулесу, с той лишь разницей, что от тела его шел пар, а с шея, рук, живота и бедер ручейками стекала вода, омывавшая его, подобно тому, как Рона, Рейн, Дунай и Адидже пересекают и омывают альпийские горные цепи. Вид князя в костюме Адама был для падре Пирроне зрелищем незнакомым: привыкнув, в силу таинства исповеди, к обнаженности человеческих душ, он был значительно менее искушен по части обнаженных тел, — вот почему иезуит, который, скажем, и глазом не повел бы, выслушав на исповеди признание в кровосмесительстве, испытал сейчас смущение при виде вполне невинной оголенности титана. Пробормотав извинение, он стал было пятиться назад, но дон Фабрицио,

рассерженный, что не успел вовремя накинуть халат, естественно, излил свое раздражение на него.

— Не глупите, падре Пирроне, лучше дайте мае халат и, если вас не затруднит, помогите мне обтереться.

И сразу же в памяти возник один из прошлых споров.

— Послушайте меня, падре, примите и вы ванну. Довольный тем, что смог дать совет чисто гигиенический тому, кто читал ему столько моральных наставлений, князь успокоился. Верхним краем наконец полученного им халата он обтирал волосы на голове, усы и шею, в то время как пристыженный падре Пирроне другой полой халата тер ему ноги.

Но вот вершина и склоны горы были сухи.

— Теперь присядьте, падре, и объясните, почему вам столь поспешно понадобилось беседовать со мной.

Покуда иезуит усаживался, князь собственноручно обтирал некоторые наиболее интимные места.

— Дело в том, ваше превосходительство, что на меня возложена деликатная миссия. Одна персона, в высшей степени вам дорогая, открыла мне свое сердце и поручила ознакомить вас с ее чувствами, быть может понапрасну надеясь, что уважение, которым я польщен…

Колебания падре Пирроне растворялись в фразах, которым не было конца.

Дон Фабрицио потерял терпение.

— Падре, скажите же, о ком идет речь? Княгиня?

Поднятая рука князя, казалось, кому-то угрожала на самом деле он вытирал у себя под мышками.

— Княгиня устала, она спит, и я не видел ее. Речь идет о синьорине Кончетте. — Пауза. — Она влюблена.

Сорокапятилетний мужчина может — считать себя молодым до той минуты, пока не обнаруживает, что его дети вступили в возраст любви. Князь внезапно ощутил, что постарел; он позабыл о милях, которые пробегал на охоте, о возгласе «Иезус Мария», вызванном у жены, о собственной свежести после столь долгого и мучительного путешествия. Вдруг он увидел себя в образе седого человека, сопровождающего стайку внуков, которые верхом на козах катаются по парку Виллы Джулия.

— А почему эта дура решила рассказать об этом вам? Почему ко мне не пришла? — Он даже не спросил, в кого она влюбилась, — не к чему было спрашивать.

— Вы, ваше превосходительство, слишком хорошо прячете любящее отцовское сердце под личиной властности. Бедняжка, естественно, совсем оробела и прибегла к преданному духовнику семьи.

Дон Фабрицио, фыркая, надевал длинные-предлинные кальсоны; он предвидел долгие объяснения, слезы, словом, бесконечные неприятности. Эта жеманница испортила ему первый день в Доннафугате.

— Понимаю, падре, понимаю. Вот только меня здесь никто не понимает. В этом вся беда. — Он продолжал сидеть на табурете, капельки воды, как жемчуг, дрожали на светлых волосах его груди. Ручейки змеились по кирпичному полу, комнату наполнил молочный аромат отрубей, миндальный запах мыла, — Итак, что же я, по-вашему, должен на это сказать?

В комнатке было жарко, как в печке; пот прошиб иезуита, и он, исполнив поручение, хотел уйти, но чувство собственной ответственности удерживало его.

— В глазах церкви стремление создать христианскую семью заслуживает всяческого поощрения. Присутствие Христа на бракосочетании в Кане…

— Не станем распространяться. Поговорим об этом браке, а не о браке вообще. Дон Танкреди высказал точные намерения. Когда это было?

Падре Пирроне пять лет пытался обучать мальчика латыни; семь лет он терпеливо выносил его насмешки и капризы; как и все, он находился под чарами его обаяния. Но поведение Танкреди во время недавних политических событий оскорбило его, старая привязанность боролась с новой обидой. Теперь он не знал, что ответить.

— Предложения в подлинном смысле слова не было. Но у синьорины Кончетты на этот счет нет сомнений: знаки внимания, взгляды, брошенные на лету слова — все это теперь стало повторяться чаще, все убеждает нашу невинную девушку; она верит, что любима, но, будучи послушной, почтительной дочерью, хочет через мое посредство узнать, что надлежит ей ответить, если предложение последует. Она предвидит его неизбежность.

Князь немного успокоился: откуда у этой девчонки может быть опыт, позволяющий ясно разобраться в чувствах и намерениях юноши, да еще

такого, как Танкреди? Может быть, это просто фантазия, один из тех «золотых снов», от которых приходят в беспорядок подушки монастырских питомиц? Опасность еще далека.

Опасность? Эго слово с такой четкостью прозвучало в его ушах, что он сам удивился. Опасность. Но для кого опасность? Он очень любил Кончетту, ему нравилась ее способность всегда подчиняться и то добродушие, с которым она покорялась любому, даже деспотическому проявлению отцовской воли. Впрочем, он переоценивал и эту покорность и это добродушие. Постоянное стремление отстранить от себя любую угрозу собственному спокойствию привело к тому, что он не замечал злых огоньков, вспыхивающих в глазах девушки, когда причуды, которым она покорялась, оказывались для нее слишком мучительными. Князь очень любил эту свою дочь. Но еще больше он любил своего племянника. Навсегда покоренный шутливой привязанностью мальчика, он вот уж несколько месяцев, как начал восхищаться его умом — быстрой приспособляемостью, светским уменьем проникнуть всюду и тем врожденным искусством лавировать, которое позволяло ему пускать в ход модный в ту пору язык демагогии, давая вместе с тем понять посвященным, что для князя Танкреди Фальконери все это одно времяпрепровождение. Эти качества забавляли князя, а для людей его сословия и характера умение позабавить уже само по себе на четыре пятых определяло чувство привязанности. Князь считал, что у Танкреди большое будущее; он мог бы стать знаменосцем похода, который аристократия, облекшись уже в иные одежды, предприняла бы против нового общественного устройства. Для этого Танкреди не хватало лишь одного — денег, а денег у него действительно ни гроша. Чтобы продвинуться в политике, теперь одного имени слишком мало, нужна куча денег: деньги нужны для покупки голосов, деньги нужны для оказания поблажек избирателям, деньги нужны, чтобы пускать пыль в глаза и блистать своим домом. Блистать? Сможет ли Кончетта при всех своих покорных добродетелях помочь тщеславному и блистательному мужу подняться по скользким ступеням нового общества? Помогут ли ей ее скромность, сдержанность, упрямство? Нет, она навсегда останется все той же прекрасной питомицей монастыря, 'будет лишь свинцовым грузом для мужа.

— Можете ли вы, падре, представить себе Кончетту женой посла в Вене или Петербурге?

Падре Пирроне был ошеломлен этим вопросом.

— При чем тут посол? Не понимаю.

Дон Фабрицио не пытался ничего объяснять, погрузившись в свои невысказанные мысли. Деньги? Кончетта получит приданое, конечно. Но достояние дома Салина должно быть разделено на семь частей, на семь неравных частей, из которых девушкам достанется меньшая доля. А что же будет затем? Танкреди нужна другая: к примеру, Мария Санта Пау, у которой уже четыре своих поместья да к тому же все дядья попы и скряги, или одна из девушек Сутера, правда, безобразных, но зато богатых. Любовь! Да, любовь. Огонь и пламя на год, пепел на тридцать лет. Он знал, что такое любовь… И потом, Танкреди, перед которым женщины будут падать, как спелые груши…

Ему вдруг стало холодно. Вода, покрывавшая его тело, испарялась, кожа съежилась на пальцах. А сколько еще впереди мучительных разговоров. Нужно этого избежать…

— Падре Пирроне, теперь я должен пойти одеться. Прошу вас, скажите Кончетте, что я вовсе не сержусь, но мы вернемся к этому разговору, когда будем уверены, что речь идет не о фантазиях романтически настроенной девушки. До скорой встречи.

Он встал и перешел в туалетную комнату. Из расположенного неподалеку собора сюда доносились мрачные звуки заупокойной службы. Кто-то умер в Доннафугате, чье-то усталое тело — не вынесло огромной печали сицилийского лета, кому-то не хватило сил дождаться дождей. «Легко ему теперь, — подумал князь, накладывая повязку на усы. — Легко ему, плюет теперь на дочерей, на приданое, на политические карьеры…»

Мимолетного отождествления самого себя с безвестным покойником оказалось достаточно, чтоб его успокоить. «Покуда есть смерть, есть надежда, — размышлял он; просто смешно приходить в состояние такой подавленности из-за того, что одна из его дочерей хочет выйти замуж. — C`est leur affaire, apres tout (Это их дело, в конце концов), — подумал он уже по-французски, как делал всегда, стремясь избавиться от каких-либо назойливых мыслей. Затем уселся в кресло и задремал.

Час спустя он проснулся со свежими силами и спустился в сад. Солнце уже заходило, и его лучи, забыв о своей жестокости, освещали мягким светом араукарии, сосны и кряжистые дубы — славу здешних мест.

Сладкоструйное журчание фонтана Амфитриты раздавалось в самой глубине главков аллеи, которая плавно спускалась к нему среди кустов лавра, обрамлявшего статуи безвестных богинь с отбитыми носами. Князь направился быстрыми шагами к фонтану, стремясь поскорее увидеть его вновь.

Вода, наполнявшая раковины тритонов, ракушки наяд, ноздри морских чудовищ, вырывалась тонкими струйками; с резким шумом билась она о зеленоватую поверхность бассейна, отскакивала от нее, образуя пузыри; пену, волны, зыбь, сверкающие водовороты; от всего фонтана, от теплой воды, от камней, поросших бархатистым мхом, исходило обещание наслаждения, которое никогда не сможет обернуться страданием. На островке, в центре круглого бассейна, возвышалась легкая статуя улыбающегося Нептуна, высеченная из камня неумелым, но чувственным скальпелем. Нептун обнимал похотливую Амфитриту; мокрое от водяных брызг сверкало на солнце ее тело, и казалось, что вот-вот Нептун с Амфитритой предадутся тайным ласкам в подводной тени. Дон Фабрицио остановился, взглянул, вспомнил, ощутил сожаление. Он долго стоял.

— Дядюшка, посмотри лучше на заморские персики. Они хорошо прижились. И оставь в покое эти непристойности, они ни к чему мужчине твоих лет.

Лукавая сердечность, звучавшая в голосе Танкреди, вывела князя из сладострастного оцепенения. Он не слышал, как подошел Танкреди: ступает, как кот. Впервые ему показалось, что при виде мальчика его кольнуло чувство обиды: из-за этого красавчика с тоненькой талией под темно-синей курткой два часа тому назад он предался таким горьким размышлениям о смерти. Затем понял — обиды не было; обида обернулась страхом; его пугало, что Танкреди заговорит с ним о Кончетте.

Однако начало разговора и тон племянника не предвещали интимной беседы на любовные темы с таким человеком, как он. Князь успокоился: единственный глаз племянника глядел на него с выражением той иронической привязанности, с которой молодежь относится к людям пожилым.

„Они могут себе позволить быть иногда любезными с нами, ведь они уверены, что на следующий день после наших похорон будут свободны“.

Князь вместе с Танкреди отправился поглядеть на „заморские персики“. Прививка немецких саженцев два года тому назад дала превосходные результаты: плодов было немного, не больше дюжины на обоих деревьях,

но они были большие, бархатистые, сочные; желтоватые персики с двумя розовыми ямочками на щеках походили на головки маленьких целомудренных китаянок. Князь потрогал их своими мясистыми пальцами, которые славились нежностью прикосновения.

— Кажется, они действительно созрели. Жаль, что их слишком мало для сегодняшнего вечера. Но завтра прикажем сорвать их и узнаем, что они из себя представляют.

— Вот таким ты мне нравишься, дядя! Тебе к лицу роль agricola pius (Благочестивый землевладелец), который оценивает и предвкушает плоды собственного труда, а ты занялся созерцанием скандально-обнаженных тел.

— Все же, Танкреди, и эти персики — плод любви, плод скрещивания.

— Да, но любви законной, дозволенной тобой, владельцем, и садовником Нино — в качестве нотариуса. Их породила любовь продуманная, плодотворная, не то, что у тех, — и он показал на фонтан, гул которого доносился сквозь завесу из густых дубов. — Неужто ты думаешь, что они успели побывать у священника? — Разговор принимал опасное направление, и дон Фабрицио поторопился взять другой курс.

Подымаясь к дому, Танкреди поделился с ним пикантными новостями из хроники Доннафугаты, которые уже стали ему известны: Меника, дочь полевого сторожа Саверио, забеременела от жениха и теперь торопится со свадьбой; Каликкио чудом избежал пули разгневанного супруга.

— Но откуда ты все это знаешь?

— Знаю, дядюшка, знаю. Мне рассказывают все понимают, что я посочувствую.

Отдыхая на мягких поворотах и подолгу задерживаясь на площадках, они добрались до самой вершины лестницы, которая вела к замку; за деревьями открывался вечерний пейзаж; небо штурмовали огромные облака чернильного цвета, надвигавшиеся со стороны моря. Может быть, утолился гнев господний и смягчалось проклятье, ежегодно ниспосылаемое Сицилии? В эту минуту на тучи, несшие с собой облегчение, глядели тысячи глаз, в чреве земли их приближение ощущали миллиарды семян.

— Будем надеяться, что кончилось лето. Наконец начнутся дожди, — сказал дон Фабрицио, и в этих словах высокомерного аристократа,

которому дожди не могли причинить ничего, кроме досады, проявилось чувство братства с грубыми крестьянами.

Князь всегда заботился, чтобы первый обед в Доннафугате носил торжественный характер: дети до пятнадцати лет на него не допускались, к столу подавали французские вина, перед жарким подносили пунш, приготовленный „по-римски“, прислуга была в напудренных париках. Лишь в одной детали он шел на уступку: не надевал вечернего костюма, чтобы не смущать гостей, которые, конечно, таковыми не обладали. В этот вечер в салоне, прозванном „леопольдовым“, семейство Салина ожидало прихода гостей. Кругами падал желтый свет от ламп под кружевными абажурами, а предки Салина, взиравшие с непомерно больших полотен, на которых они были изображены верхом на конях, казались немощными видениями, столь же расплывчатыми, как и само воспоминание о них.

Дон Онофрио с супругой уже прибыли. Монсеньер, облаченный по случаю торжества в пелерину из легчайшего шелка, рассказывал княгине о неприятностях в колледже Святой Марии. Пожаловал и дон Чиччьо, органист (Терезина была заблаговременно привязана за лапу к секретеру), и теперь он вместе с князем вспоминал о сказочно удачных выстрелах во время охоты в ущелье Драгонары.

Все казалось спокойным и привычным, пока Паоло, шестнадцатилетний сын князя, не ворвался в гостиную со скандальной вестью.

— Папа, дон Калоджеро подымается по лестнице. Он во фраке!

Танкреди, занятый тем, что очаровывал жену дона Онофрио, оценил это известие секундой позже остальных. Но, услышав роковые слова, он не смог удержаться и разразился безудержным хохотом. Не рассмеялся лишь князь, на которого, да будет нам позволено это сказать, известие о фраке произвело впечатление более сильное, чем сообщение о десанте у Марсалы. То было событие не только предусмотренное, но и происходившее вдалеке и поэтому невидимое. Теперь же он, человек, столь слепо верящий в предсказания и символы, увидел революцию в этом белом галстуке и двух черных фалдах, которые подымались по лестнице его дома, Он, князь, не только не был более крупнейшим собственником в Доннафугате, но еще вынужден был принимать в обычном костюме гостя, который являлся в вечернем туалете.

Досада его была велика, и она не исчезла, когда он машинально направился к двери, чтоб встретить гостя. Но, увидев его, князь испытал некоторое чувство облегчения. Полностью соответствуя целям политической манифестации, фрак дона Калоджеро — и это можно смело утверждать — с точки зрения портновского искусства выглядел катастрофически. Скроенный из тончайшего сукна по модному фасону, он был чудовищно сшит. Последний крик лондонской моды нашел весьма скверное воплощение в руках ремесленника из Агридженто, к которому обратилась упорная скупость дона Калоджеро. В немой мольбе вздымались к небу концы обеих фалд, огромный воротник казался совершенно бесформенным, вдобавок — сколь ни грустно для нас это признание — ноги мэра были обуты в сапожки на кнопках.

Дон Калоджеро, протягивая руку в перчатке, продвигался к княгине.

— Моя дочь просит прощения: она еще не вполне готова. Ваше превосходительство знает, каковы женщины в подобных случаях, — добавил он, выразив почти на жаргоне мысль, подошедшую на парижских дрожжах. — Но она будет здесь через мгновение; вы знаете, наш дом в двух шагах.

Мгновение длилось пять минут, затем открылась дверь и появилась Анджелика. Первое впечатление — ослепляющая неожиданность. У семейства Салина от удивления перехватило дыхание. Танкреди даже почувствовал, как забились жилки на висках. Сила удара, нанесенного ее красотой, была столь велика, что мужчины потеряли способность обнаружить те немалые изъяны, которые у этой красоты имелись; впоследствии многие оказались совершенно неспособны к такому критическому подходу.

Анджелика была высока, безупречно сложена и щедро наделена природой; кожа ее, должно быть, благоухала свежими сливками, на которые походила цветом; ее детский рот напоминал о вкусе земляники. Из-под пышных, рассыпающихся мягкими волнами волос цвета ночи, подобно утренней заре, сверкали зеленые глаза, неподвижные, как пустые глазницы статуй, и, пожалуй, такие же жестокие. Она ступала медленно, колыхая своей широкой белой юбкой, полная невозмутимости и чувства непобедимости, присущих женщине, уверенной в собственной красоте. Лишь много месяцев спустя стало известно, что в минуту своего триумфального появления она готова была упасть в обморок от страха.

Не обратив внимания на князя, который подбежал к ней, обойдя мечтательно улыбавшегося Танкреди, она приблизилась к креслу княгини, и тогда только великолепная спина девушки изогнулась в легком поклоне. Эта форма вежливости, не принятая в Сицилии, на мгновение придала очарование экзотичности ее деревенской красоте.

— Анджелика моя, как давно я тебя не видела. Ты очень изменилась, и совсем не к худшему, — сказала княгиня, не веря своим глазам и припоминая неухоженную тринадцатилетнюю дурнушку, которую видела четыре года тому назад; она никак не могла сочетать образ ребенка с томной девушкой, стоявшей перед ней теперь.

Князю незачем было приводить в порядок свои воспоминания; ему пришлось лишь внести поправку в предсказания: удар, нанесенный его гордости фраком отца, теперь был повторен дочерью; но на этот раз речь шла не о черном сукне, а о матовой коже мелочно-белого цвета, причем скроенной великолепно!

Призывный клич женской красоты не застал врасплох старого боевого коня: он обратился к девушке с той изысканной почтительностью, какую употребил бы в разговоре с герцогиней Бовино или княгиней Лампедуза.

— Мы счастливы, синьорина Анджелика, видеть в своем доме столь прекрасный цветок. Надеюсь, мы часто будем иметь удовольствие встречать вас у себя.

— Спасибо, князь. Ваша доброта ко мне равна доброте, которую вы всегда выказывали моему дорогому папе. — Голос у нее был красивый, низкий, может, она только слишком за ним следила; флорентийская школа стерла следы агриджентского акцента, от сицилийского диалекта оставалась лишь резкость произношения согласных, которая, впрочем, превосходно гармонировала с ее чистой, но несколько тяжелой красотой. Во Флоренции ее научили в беседе опускать „ваше превосходительство“.

К сожалению, мы мало что можем сказать о Танкреди; будучи представлен доном Калоджеро, он пустил в ход огонек своего голубого глаза, с трудом удержавшись от желания поцеловать руку Анджелики, затем вернулся к прерванному разговору с синьорой Ротоло, но не понимал уже ничего из того, что слышал.

Падре Пирроне, сидя в темном углу, размышлял о святом писании, однако в этот вечер перед ним чередой проходили одни Далилы, Юдифи и Эсфири.

Средняя дверь гостиной распахнулась, и дворецкий провозгласил: „Бед тов“.

Эта загадочные звуки должны были означать, что обед готов.

Разнородная компания направилась в столовую.

Князь был слишком опытен, чтоб предлагать гостям-сицилийцам, в деревне, расположенной в глубине острова, обед, который начинался бы супом, — он нарушил это правило высокой кухни с легкостью, объясняемой тем, что такое нарушение соответствовало и его собственным вкусам. Но чрезмерно настойчивые слухи о варварском иноземном обычае подавать на первое бульон достигли ушей влиятельных лиц Доннафугаты, которые по этой причине перед началом торжественных обедов трепетали от страха.

Вот отчего лишь четверо из двадцати сидевших за столом воздержались от выражений приятного удивления, когда три лакея в зеленых, расшитых золотом ливреях и напудренных париках внесли каждый по огромному серебряному блюду, на котором, подобно башне, возвышались запеченные „литавры“ из макарон. Те четверо были князь и княгиня, которые знали, что будет подано; Анджелика, которая была слишком взволнована, и Кончетта, у которой не было аппетита. Все остальные (как нам ни жаль, но в том числе и Танкреди) выразили испытанное ими чувство облегчения самыми различными способами — от напоминавшего Звуки флейты восторженного похрюкивания нотариуса до громкого визга Франческе Паоло.

Впрочем, грозный взгляд хозяина дома, оглядевшего стол, тотчас же положил конец этому непристойному изъявлению восторга.

Но если на минуту позабыть о благовоспитанности, то придется сказать, что лицезрение этих монументальных изделий из макарон вполне оправдывало дрожь восхищения. Коричневатое золото корки, благоухание сахара и корицы являлись лишь прелюдией к чувству блаженства, которое вас охватывало, как только нож разрезал корку: сначала оттуда вырывались пары, полные ароматов, затем появлялись на свет божий цыплячьи печеночки, крутые яйца, тонко нарезанные ломти ветчины и куриного мяса вперемежку с трюфелями, запеченными вместе с маслянистыми, горячими макаронами небольшой длины, которым мясной соус придавал великолепный вид замши.

Начало обеда, как принято в провинции, прошло в сосредоточенном молчании. Монсеньер осенил себя крестом и без лишних слов бросился в атаку. Органист вкушал столь соблазнительную еду с закрытыми глазами: он был признателен создателю за то, что ловкость на охоте за зайцами и бекасами порой доставляет ему подобные наслаждения, и думал лишь о том, что на деньги, которые стоит каждое из этих блюд, он с Терезиной мог бы прожить целый месяц.

Прекрасная Анджелика, позабыв о тосканских лепешках из каштановой муки, а отчасти и о своих хороших манерах, поглощала макароны с аппетитом своих семнадцати лет и с той энергией, которую допускала необходимость держать вилку за середину ручки.

Танкреди, накручивая на вилку ароматные макароны, пытался было сочетать радости обжорства с предвкушением поцелуев Анджелики, своей соседки по столу, однако, быстро убедившись, что подобный опыт ему противен, решил вернуться к своим мечтам лишь за сладким. Князь, хоть и был поглощен созерцанием Анджелики, сидевшей напротив, все же — единственный из всех за столом — заметил, что макароны слишком перегружены начинкой, и решил завтра сказать об этом повару; остальные ели бездумно, даже не догадываясь, что обед казался им еще вкусней оттого, что в дом проник ветерок чувственности.

Все были спокойны и довольны. Все, кроме Кончетты. Да, она обняла и расцеловала Анджелику, она отвергла ее обращение на „вы“, напомнив, что в детстве они были на „ты“, но словно кто-то раскаленными щипцами рвал на части ее сердце под бледно-голубым лифом; в ней заговорила неистовая кровь Салина. За гладким лбом скрывались отравленные ядом видения.

Танкреди, сидя между ней и Анджеликой, с щепетильной вежливостью человека, ощущающего свою вину, поровну расточал своим соседкам взгляды, комплименты и остроты; но Кончетта чувствовала, ощущала всем своим животным естеством ток желаний, шедший от него к этой втируше, и хмурая складка меж ее лбом и носом все углублялась; ей хотелось умереть, но с той же силой хотела она убивать. Женщина до мозга костей, она придиралась к мелочам: отметила, с какой вульгарностью Анджелика поднимала кверху мизинец, держа в руке бокал; не прошла мимо красноватого родимого пятнышка на шее, не оставила без внимания незавершенную попытку достать пальцами

кусочек пищи, застрявшей между белоснежными зубами; с еще большим удовольствием она подметила некоторое тугоумие своей соперницы.

Теперь она хваталась за эти мелочи в надежде и отчаянии, подобно тому, как падающий с лесов каменщик пытается уцепиться за жестяную водосточную трубу, не понимая, сколь незначительными все эти пороки становились в горниле чувственного влечения. Она надеялась, что Танкреди также заметит их и у него возникнет отвращение к столь явным следам разницы в воспитании. Танкреди это подметил, но, увы, без всяких результатов.

Он дал себя увлечь физическому желанию, разбуженному у пламенной его молодости красотой этой женщины, не говоря уже о побуждениях, скажем, чисто меркантильных, которые богатая невеста вызвала в уме тщеславного, но бедного юноши.

К концу обеда разговор стал общим; дон Калоджеро на своем прескверном языке, но с присущей ему мудрой проницательностью рассказывал о некоторых закулисных действиях гарибальдийцев при захвате ими провинции; нотариус повествовал княгине о „загородном“ домике, который строил для себя; Анджелика, возбужденная светом, едой, шабли и тем единодушным одобрением, которое встретила у мужчин, сидящих за столом, попросила Танкреди рассказать какой-нибудь эпизод из эпохи „славных боев“ под Палермо. Она поставила локоть на стол, поддерживая рукой щеку. Кровь прилила к ее лицу, и глядеть на нее теперь было и радостно и опасно. Танкреди нашел восхитительной арабеску предплечья, локтя, пальцев, свисавшей белой перчатки, Кончетте же этот рисунок казался отвратительным. Продолжая восхищаться соседкой, он рассказывал о войне с необыкновенной легкостью и беспечностью, словно ничто не имело значения: ни ночной марш к Джибильроссе, ни перепалка между Биксио и Ла Маза, ни штурм Порта ди Термина.

— Поверьте, синьорина, я никогда так не развлекался. Но более всего мы веселились вечером двадцать восьмого мая. Генералу потребовался дозорный пост на вершине, где расположен монастырь затворниц. Стучим, стучим — проклятие, никто не открывает! Тогда Тассони, Алдригетти, я и еще кое-кто попытались разбить ворота прикладами мушкетов. Напрасный труд. Решаем быстро притащить бревно из соседнего дома, разрушенного обстрелом, и наконец после адского грохота ворота поддаются. Входим: пусто, но за поворотом коридора слышны отчаянные вопли, монахини укрылись в капелле и сбились в кучку у алтаря — уж не

знаю, какие стр-р-а-х-и вызвал у них десяток обозлившихся парней. Смешно было глядеть на этих монахинь; уродливые, старые, в черных рясах, они приготовились… принять мученичество. Выли они, как суки. Тассони — ну и тип — крикнул: „Ничего не поделаешь, сестры, у нас сейчас другие дела; вернемся, когда вы нам подыщете молоденьких послушниц!“ От хохота мы чуть по земле не катались. Так их там и оставили, несолоно хлебавши; нам пришлось с верхних террас открыть огонь по королевским войскам. Десять минут спустя я был ранен.

Анджелика, по-прежнему опершись локтем о стол, смеялась, обнажая свои зубы волчицы. Шутка показалась ей прелестной, сама возможность насилия волновала, ее белая шея вздрагивала.

— Ну и ребята же у вас! Как бы мне хотелось быть с вами там!

Танкреди стал непохож на самого себя; увлечение рассказом, власть воспоминаний и вдобавок возбуждение, которое вызвала в нем чувственная внешность девушки, моментально изменили его, преобразили благовоспитанного молодого человека, каким он был на самом деле, в грубого солдата.

— Будь вы там, синьорина, не было бы нужды дожидаться послушниц…

У себя дома Анджелика вдосталь наслышалась сальностей, но в первый (и отнюдь не в последний) раз в жизни ей самой пришлось стать предметом похотливой двусмысленности; ей понравилась новизна, смех девушки зазвучал еще громче, стал резким, пронзительным.

В эту минуту все встали из-за стола; Танкреди нагнулся, чтобы достать веер из перьев, который уронила Анджелика; поднявшись, он увидел Кончетту — лицо залито пунцовой краской, две слезинки на кончике ресниц.

— Танкреди, о таких дурных поступках рассказывают духовнику, о них не говорят с синьориной за столом, по крайней мере когда при этом присутствую и я. — И повернулась к нему спиной.

Перед тем как лечь в постель, дон Фабрицио с минуту постоял на маленьком балконе в своей гардеробной. Внизу спал погруженный в тень сад; застывшие в недвижном воздухе деревья казались отлитыми из свинца; словно в сказке, с близлежащей колокольни доносилось уханье сов. Небо очистилось от туч, которым они так обрадовались вечером, они ушли неизвестно куда, должно быть, в страны не столь грешные, которые

божественный гнев осудил на меньшую кару. Звезды казались окутанными дымкой, их свет с трудом проникал сквозь знойный покров.

Душа князя устремилась к звездам, неприкосновенным, недостижимым, к звездам, несущим радость, ничего не требуя взамен; сколько раз он воображал, что сможет скоро очутиться среди этих леденящих просторов чистый разум, вооруженный лишь блокнотом для расчетов, самых трудных и сложных, но в которых концы всегда сходились с концами. „Лишь они одни чисты, лишь они одни порядочны, — подумал он, применив к астрономии светские формулировки. — Кому придет в голову заботиться о приданом для Плеяд, о политической карьере Сириуса, об альковных похождениях Веги?“ День был скверный, сейчас не только боль под ложечкой, но и сами звезды говорили ему об этом… Подымая глаза к небу, он вместо привычного их, расположения видел вес тот же единственный рисунок: две звезды сверху — глаза, одна внизу — кончик подбородка; насмешливое треугольное лицо, которое оп, находясь в смятении, проецировал в далеких созвездиях. Фрак дона Калоджеро, любовные истории Кончетты, дурацкие выходки Танкреди, собственное малодушие и даже угрожающая красота этой Анджелики — как все скверно; это скользкие камни перед обвалом. А этот Танкреди! Он прав, князь с ним единодушен, он даже помог бы ему, но нельзя отрицать, что Танкреди повел себя не совсем благородно. Да князь и сам такой же, как Танкреди. „Хватит. Во сне забудется все!“

Бендико, стоя в тени, тер морду о его колено.

— Видишь, Бендико, ты немного похож на них, на Звезды; к счастью, ты непонятен, ты не можешь вызывать тревогу. — Собака подняла голову, почти невидимую во мраке.

Вековая традиция требовала, чтобы семейство Салина на следующий день после своего приезда отправилось в монастырь Святого духа помолиться на могиле блаженной Корберы, происходившей из рода князя, основательницы этого монастыря, которая давала ему средства, свято жила в нем и свято в нем скончалась.

В монастыре Святого духа существовали строжайшие Запреты: доступ туда мужчин был решительно невозможен. Именно поэтому князь посещал его с особым удовольствием: на него, потомка основательницы по прямой линии, запрет не распространялся; к этой своей привилегии,

которую он разделял лишь с королем неаполитанским, князь относился ревниво и по-детски гордился ею.

Дозволенное каноническим правом исключение было основной, но не единственной причиной того предпочтения, которое он отдавал монастырю Святого духа. В этом месте ему нравилось все, начиная от грубоватой простоты монастырской приемной с двойными решетками для переговоров и маленьким деревянным колесом для передачи и получения писем. Здесь, в приемной, под круглыми бочкообразными сводами виднелось изображение леопарда; через прочные двери, ведущие из приемной в монастырь, могли на законных основаниях пройти лишь двое мужчин на свете: король я он. Ему нравился вид монахинь в широких, тщательно разглаженных накидках из белоснежного льняного полотна поверх грубых одеяний из черной ткани; он с назиданием для себя готов был в двадцатый раз выслушать рассказы настоятельницы о наивных чудесах блаженной: поглядеть на уголок печального монастырского сада где святая монахиня остановила на лету большой камень, запущенный в нее дьяволом, которого вывела из терпения ее непреклонность; он неизменно высказывал удивление по поводу изображенных на стенах кельи двух знаменитых не поддающихся расшифровке писем — одно из них блаженная Корбера написала дьяволу, стремясь наставить его на путь истинный, а второе якобы содержало ответ дьявола, в котором он высказывал сожаление, ибо не мог последовать ее совету; ему нравилось миндальное печенье, которое монахини изготовляли по рецептам вековой давности; он любил слушать пение хора во время службы и был даже рад отдавать этой общине немалую часть собственных доходов, согласно завещанию, оставленному основательницей монастыря.

Итак, в это утро в двух экипажах, только что выехавших из деревни и направлявшихся к монастырю, не было недовольных. В первой коляске сидели князь с княгиней и дочерьми Каролиной и Кончеттой; во второй — дочь Катерина и Танкреди с падре Пирроне, которые, само собой разумеется, должны были остаться extra muras (Вне стен) и ожидать конца посещения в приемной, где их станут угощать миндальным печеньем, поступающим из колеса. Кончетта казалась слегка рассеянной, но спокойной; князь хотел надеяться, что со вчерашними бреднями покончено.

Войти в закрытый монастырь не так просто — даже тем, у кого есть на то самое святое право. Монахини стремятся оказать известное, пусть чисто формальное, противодействие, на что уходит время. Впрочем, это придает

лишь» большую прелесть самому допуску, который, несомненно, будет разрешен.

Хотя в монастыре были заранее извещены о посещении, им довольно долго пришлось прождать в приемной. Когда ожидание уже подходило к концу, Танкреди внезапно сказал князю:

— Дядя, ты не мог бы устроить так, чтобы меня тоже впустили. В конце концов, я ведь наполовину Салина и еще ни разу здесь не был.

Князь в глубине души был рад этой просьбе, но решительно покачал головой.

— Нет, сын мой, ты знаешь, лишь я один могу сюда войти; другим это невозможно.

Однако не так-то легко уговорить Танкреди.

— Прости, дядюшка… сможет войти князь Салина и вместе с ним два дворянина из его свиты, если дозволит настоятельница. Я все это вчера перечитал. Пусть я буду дворянином из твоей свиты, буду твоим щитоносцем, буду всем, чем ты пожелаешь. Спроси у настоятельницы, прошу тебя.

Он говорил с необычайным жаром, быть может, ему хотелось, чтоб кое-кто позабыл необдуманные речи вчера за столом.

Князь был польщен.

— Если ты, дорогой, так на этом настаиваешь, посмотрим…

Но тут Кончетта с самой очаровательной улыбкой на устах обратилась к кузену.

— Танкреди, когда мы проезжали мимо дома Джянестры, там на земле валялось бревно. Сходи за ним, так ты скорее войдешь.

Голубой глаз Танкреди помрачнел, а лицо стало краснее мака, то ли от стыда, то ли от гнева. Он хотел было что-то сказать донельзя удивленному князю, но тут снова вмешалась Кончетта, которая, на этот раз без улыбки, со злобой в голосе, заявила:

— Оставь, папа, он шутит: в одном монастыре он уже побывал, и хватит с него; в наш он не должен входить.

Загремел железный засов, и дверь открылась. В душную приемную ворвалась монастырская прохлада вместе с говорком собравшихся для встречи монахинь. Слишком поздно было начинать переговоры, и

Танкреди остался за монастырскими воротами, близ которых он и прогуливался под раскаленными тучами солнца. Посещение монастыря Святого духа удалось как нельзя лучше. Дон Фабрицио из любви к покою не спросил у Кончетты, что означали ее слова; конечно, это была одна из обычных ребячьих перебранок между кузенами; в любом случае ссора между молодыми людьми отдаляла докуку, разговоры, необходимость принимать решения; значит, ей следовало только радоваться.

После этого все с притворным сокрушением почтили могилу святой Корберы, с должной терпимостью выпили жидковатый кофе монахинь и с удовольствием отведали розового к зеленоватого миндального печенья, хрустевшего на зубах; княгиня осмотрела гардероб; Кончетта с обычной сдержанной добротой побеседовала с монахинями, а князь лично оставил на столе трапезной те десять унций, которые он давал при каждом посещении. У выхода, правда, они застали одного лишь падре Пирроне; когда же тот сказал, что Танкреди ушел домой пешком, вспомнив о срочном письме, которое должен был написать, никто не придал этому особого значения.

Вернувшись в замок, князь поднялся в библиотеку, расположенную в самом центре здания под часами и громоотводом. С большого балкона, защищенного от Зноя, в тени пыльных платанов виднелась обширная площадь Доннафугаты. Стоявшие напротив замка дома выставляли напоказ свои фасады, задорно разукрашенные деревенским архитектором. Эти сельские чудовища из светлого отполированного годами камня, кривясь, выставляли напоказ слишком маленькие для них балкончики; поодаль стояли другие дома, которые стыдливо прикрывались фасадами в имперском стиле; среди них виднелась и обитель дона Калоджеро.

Дон Фабрицио расхаживал по огромной комнате и, проходя мимо окна, то и дело бросал взгляд на площадь. На одной из скамеек, подаренных им мэрии, поджаривались на солнце три старичка; к дереву кто-то привязал четырех мулов; с десяток мальчишек гонялись друг за другом, крича и размахивая деревянными саблями. Под неистовыми лучами солнца эта картина дышала сельским покоем. Но, проходя мимо окна, князь вдруг остановился, заметив фигуру человека совершенно городского типа — по площади шагал худощавый, стройный, превосходно одетый человек. Хорошенько вглядевшись, он узнал Танкреди — хотя тот уже был далеко; чуть опущенные плечи и тонкая талия, плотно обтянутая редингтом. Он успел уже переодеться, сменил коричневый костюм, в котором ездил в монастырь, на темно-синий («цвет моих обольщений», как говаривал сам

Танкреди). В руках он держал трость с покрытым эмалью набалдашником (должно быть, ту, на которой изображен единорог — герб Фальконери и под ним девиз Semper purus (Всегда чист)). Он шел крадучись, словно кот, ступал осторожно, как человек, не желающий запылить свои сапоги. В десяти шагах от него следовал лакей, несший разукрашенную цветами корзину с десятком желтоватых розовощеких персиков. Танкреди отстранил рукой забияку мальчишку, осторожно обошел лужу мочи, оставленную мулом, и вскоре очутился у дверей дома Седара.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Выезд на охоту. — Неприятности дона Фабрицио. — Письмо Танкреди. — Охота и плебисцит. — Дон Чиччьо Тумео обличает. — Как проглотить жабу. — Краткий эпилог.

Ноябрь 1860

Дожди пришли, дожди вскоре ушли, и солнце снова поднялось на трон, подобно абсолютному монарху, который, отстраненный на неделю от власти своими подданными, вышедшими на баррикады, возвращается обратно в гневе, сдерживаемом конституционной хартией. Солнце теперь грело, а не жгло, его властные лучи не убивали красок, и снова из земли робко пробивались мята да клевер, исполненные сомнения и надежды.

Дон Фабрицио, сопровождаемый собаками Аргуто и Терезиной, в обществе дона Чиччьо Тумео проводил да охоте долгие часы от рассвета до полудня. Сопряженные с этим хлопоты не шли ни в какое сравнение с результатами — ведь даже самым опытным охотникам трудно стрелять по дичи, которой почти нет. Хорошо, если князю по возвращении домой удавалось отправить на кухню парочку куропаток, а дон Чиччьо мог бросить вечером на стол дикого кролика, который немедленно, как у нас в обычае, возводился в ранг Зайца.

Кстати, князю доставляли не столь уж большое удовольствие обильные охотничьи трофеи; ему были гораздо милее мелкие эпизоды, связанные со сборами на охоту.

День начинался с бритья в еще темной комнате при зажженной свече, от света, которой тени на расписном потолке становились непомерно большими; ощущение радости обострялось, когда он проходил уснувшими гостиными, отодвигая в дрожащем свете пламени столики с разбросанными в беспорядке среди жетонов и пустых рюмок игральными

картами, и внезапно обнаруживал фигурку всадника с мечом, славшего ему мужественное приветствие.

Чувство радости не покидало его, когда он в серый предрассветный час проходил словно застывшим садом, где ранние птицы поеживались, стряхивая с перьев капли росы, когда он проскальзывал через калитку, увитую плющом; словом, когда он бежал из дому и с первыми лучами солнца выходил на дорогу, наслаждаясь свежестью утра, и затем встречал дона Чиччьо, улыбавшегося в свои пожелтевшие усы, ласково поругивавшего собак, у которых от напряженного ожидания вздрагивали мускулы под бархатистой шкурой.

Венера еще сверкала в небесах, подобно спелой виноградинке, прозрачной и влажной, но казалось, что уже слышен грохот солнечной колесницы, взбиравшейся на вершину за горизонтом; вскоре им встречались первые стада, двигавшиеся лениво, словно морской прилив; пастухи, одетые в шкуры, подгоняли овец камнями, в лучах раннего солнца овечья шерсть казалась мягкой и розовой. Тут начиналось разбирательство нелегкого спора между сторожевыми собаками и щепетильными гончими, которые стремились пройти первыми; после этого оглушительного интермеццо охотники спускались по косогору и попадали в вечную тишину пастушьей Сицилии. Здесь, вдали от всего света, даже время замедлило свой неутомимый ход.

Доннафугата с ее замком и ее «нуворишами» находилась всего в двух милях отсюда, но воспоминание о ней тускнело и становилось похожим на пейзаж, который порой неясно обрисовывается за далеким еще выходом из железнодорожного туннеля; блеск и нищета Доннафугаты утрачивали здесь свою реальность даже в большей степени, чем если бы они уже принадлежали прошлому: перед лицом всей неизменности этого заброшенного края казалось, что они смотрят в будущее, а сама Доннафугата была уже не из камня и плоти, а становилась причудливым видением грядущего, каким оно представлялось какому нибудь деревенскому Платону. Все связанное с Доннафугатой могло произвольно принять иные формы либо вовсе прекратить свое существование: ведь у видений грядущего нет и того небольшого заряда энергии, каким обладают тени принадлежащие прошлому. В этом смысле Доннафугата не могла причинять ему огорчений.

А огорчений у дона Фабрицио за два последних месяца было немало; они выползали из всех щелей, словно муравьи, атакующие мертвую ящерицу.

Некоторые пробивались сквозь трещины политической ситуации; другие были взвалены на него чужими страстями; но самые «кусачие» зародились в нем самом, как неосознанная реакция на события политической жизни и капризы ближних (в состоянии раздражения он называл «капризами» то, что, успокоившись, определял как страсти). Этим своим огорчениям он ежедневно делал смотр, заставлял их совершать маневры, становиться в колонну либо строиться в одну шеренгу на плацдарме собственной совести, надеясь обнаружить в их эволюциях какой-либо признак целенаправленности, который мог бы его успокоить, но это-то как раз ему не удавалось. В прошлые годы было меньше докуки, а пребывание в Доннафугате, во всяком случае, было отдыхом; тогда горести выпускали из рук ружья, рассеивались среди здешних долин и вообще, питаясь одним хлебом и сыром, вели себя настолько спокойно, что поневоле забывалась воинственность их мундиров и можно было легко принять их за безобидных землепашцев.

Но в нынешнем году беды не покидали его дом. Подобно взбунтовавшимся солдатам, которые не желают расходиться и кричат, размахивая оружием, они порождали в нем чувство страха, как у полковника, который, скомандовав «разойдись», видит, что мятежный полк еще грознее сомкнул ряды.

По приезде — оркестры, хлевушки, колокольный звон, пошлые мотивы и «Te Deum» — всё это хорошо. Ну, а что потом?

Буржуазная революция поднималась по лестнице его дома во фраке дона Калоджеро, красота Анджелики затмевала сдержанное изящество его Кончетты. Танкреди обгонял предусмотренное плавное развитие событий, а чувственность мальчика расцвечивала вполне реалистические побуждения, которыми он руководствовался. К тому еще сомнения и двусмысленное положение, связанные с плебисцитом, и тысячи уловок, к которым вынужден был прибегать сам леопард, годами привыкший устранять все препятствия на своем пути одним взмахом лапы.

Вот уж месяц, как уехал Танкреди; он находился теперь в Казерте при штаб-квартире своего короля; оттуда он время от времени присылал дону Фабрицио письма, которые тот читал, чередуя брюзжание с улыбкой, и затем прятал в самый отдаленный ящик своего письменного стола. Кончетте он совсем не писал, но со своим обычным милым лукавством не забывал передавать ей привет; однажды он даже написал: «Целую руки всех милых леопардочек, и особенно Кончетты». Отцовская осторожность

заставила князя пропустить эту фразу при чтении письма собравшейся семье.

Анджелика посещала замок почти ежедневно и стала еще соблазнительнее. Обычно ее сопровождал отец либо горничная, которая славилась своим «дурным глазом»; официально визиты наносились подружкам, девушкам, на деле же их затаенный смысл становился очевидным, когда она с напускным безразличием спрашивала: «А есть ли известия от князя?» Слово «князь» в устах Анджелики — увы! — больше не относилось к нему, дону Фабрицио; князем она называла гарибальдийского капитанишку, и это вызывало у Салина странное ощущение: бумажная нить чувственной зависти переплеталась с шелком радости, приносимой успехами дорогого ему Танкреди, — в конце концов, это ощущение было досадным. На вопрос всегда отвечал он сам, и отвечал продуманно; он говорил о том, что знал, но прежде осторожные ножницы срезали с куста новостей все шипы (частые поездки в Неаполь; совершенно недвусмысленные намеки на красоту ног Ауроры Шварцвальд, маленькой балерины из театра Сан-Карло), а также преждевременно распустившиеся бутоны («сообщи мне, как поживает синьорина Анджелика», «в кабинете Фердинанда II я видел „Мадонну“ Андреа дель Сарто, которая напомнила мне синьорину Седара»).

Так лепил он странный и весьма далекий от истины образ Танкреди: никто не посмел бы бросить ему упрек в том, что он выступает в роли свата или нарушителя чужого праздника. Эта осторожность в словах весьма соответствовала его собственному отношению к расчетливой страсти Танкреди, но она раздражала его, поскольку утомляла; впрочем, это лишь один из сотни примеров тех словесных уловок и умолчаний, к которым князь с некоторых пор вынужден был прибегать. Он с завистью вспоминал о прошлом годе, когда высказывал все, что только ни придет ему в голову, уверенный, что каждая его глупость будет воспринята как слово евангелия, а любая безрассудная выходка — как проявление княжеской беспечности.

Встав на путь сожаления о прошлом, он в минуты наиболее скверного расположения духа забирался в глубь времен: однажды, накладывая сахар в чашку чая, притянутую ему Анджеликой, он обнаружил, что завидует возможностям тех Фабрицио Салина и Танкреди Фальконери, которые жили три века тому назад. Уж они-то удовлетворили бы свое желание переспать с Анджеликой тех времен, не заглядывая для этого предварительно к приходскому священнику, не заботясь о приданом своих

крестьянок (которого, впрочем, не существовало) и освобождая своих уважаемых родных от необходимости лавировать, когда нужно сообщать или умалчивать о некоторых вещах. Импульс атавистической порочности (впрочем, это была не только порочность, но и чувственное выражение лени) был столь сильным, что заставил покраснеть почти пятидесятилетнего цивилизованнейшего дворянина, и в душе его, хранившей, несмотря на многочисленные фильтры, следы угрызений совести Руссо, заговорило чувство стыда. Впрочем, это лишь обострило его отвращение к социальной конъюнктуре, с которой он столкнулся.

Ощущение того, что он оказался в плену обстановки, развивавшейся быстрее, чем предполагалось, стало особенно острым этим утром. Накануне вечером почтовый дилижанс, который в ящике канареечно-желтого цвета время от времени доставляет в Доннафугату скудную корреспонденцию, привез ему письмо от Танкреди.

Письмо еще до прочтения предвещало что-то значительное — роскошные листы блестящей бумаги, на которых красивым почерком, с соблюдением всех правил каллиграфии были изображены как бы падающие вниз жирные и устремленные кверху тонкие линии. Сразу было видно, что это чистовик, старательно переписанный с довольно беспорядочных черновых набросков. В письме не было столь милого сердцу князя обращения «дядюшка»; умудренный опытом гарибальдиец предпочел другую формулировку: «дражайший дядя Фабрицио», которая отличалась многими достоинствами — она снимала любое подозрение, что все это с самого начала лишь шутка, давала с первой же строки почувствовать значительность того, что последует дальше, разрешала показать это письмо кому угодно, не говоря уже о том, что такое обращение следовало, древнейшим дохристианским религиозным традициям, которые обязывали точно обозначать имя того, к кому обращалась мольба.

Итак, «дражайшему дяде Фабрицио» сообщалось, что его «любящий и преданнейший племянник» вот уже три месяца, как стал «жертвой самого страстного любовного увлечения». Ни «военные опасности» (читай: прогулки по парку Казерты), ни «многочисленные приманки большого города» (читай: прелести балерины Шварцвальд) не могли хотя бы на мгновение вычеркнуть из его ума и сердца образ синьорины Анджелики Седара (здесь следует длинная процессия прилагательных, которые должны были прославить красоту, изящество, добродетели, ум любимой

девушки); затем четкие завитушки, выведенные чернилами в чувствами, повествовали о том, как сам Танкреди, сознавая свою недостойность, пытался погасить пламя собственной любви («долгими и напрасными были часы, когда я среди шума Неаполя, окруженный боевыми товарищами, пытался подавить свои чувства»). Но теперь любовь превозмогла высокую сдержанность, и он умолял своего дражайшего дядю от его имени и по его поручению просить руки синьорины Анджелики у ее «почтеннейшего отца». «Ты знаешь, дядя, что я не смогу предложить предмету своей страсти ничего, кроме моего вмени, моей любви и моего меча». После этой фразы, по поводу которой следует напомнить, что то были времена самого полного расцвета романтизма, Танкреди пускался в пространные рассуждения насчет целесообразности и даже необходимости союза между такими семьями, как Фальконери и Седара (один раз, увлекшись, он даже осмелился упомянуть о «доме Седара»). Танкреди утверждал, что такие союзы следует поощрять, ибо они приносят свежую кровь одряхлевшим дворянским родам и приводят к уравниванию сословий, что является одной из целей нынешнего политического движения в Италии… То была единственная часть письма, которую дон Фабрицио прочел с удовольствием, и не только оттого, что она подтверждала его собственные предсказания и окружала его ореолом пророка, но и потому (будет слишком жестоко сказать «главным образом потому»), что, полный иронического подтекста, ее стиль с волшебной силой воссоздавал образ его племянника, его насмешливую манеру говорить в нос, его голубые глаза, искрящиеся лукавством, его вежливые гримасы. Когда же князь убедился, что весь этот якобинский отрывок точно уложился на одном листочке бумаги, и можно было дать прочесть письмо кому угодно, изъяв революционную страничку, его восхищение тактом Танкреди достигло предела. Кратко поведав о последних военных событиях и выразив уверенность, что через год войска его короля войдут в Рим, «предназначенный стать августейшей столицей новой Италии», он выражал признательность за внимание к себе и заботы в прошлом и заканчивал письмо извинением за «смелость», с которой вручал в его руки дело, «от исхода которого зависит мое будущее счастье», за сим следовал привет (только ему, князю).

От первого чтения этого необыкновенного прозаического отрывка у дона Фабрицио появилось легкое головокружение; он вновь отметил ошеломляющее ускорение шагов истории. Выражаясь современными терминами, мы сказали бы, что он очутился в положении человека наших дней, считающего, будто находится на борту одного из тех безобиднейших

самолетов, которые курсируют между Палермо и Неаполем, между тем как на самом деле он оказался внутри современной машины, летящей на сверхзвуковых скоростях, и прибудет к цели раньше, чем успеет перекреститься.

Затем пробил себе дорогу второй пласт натуры князя — его сердечность, и он обрадовался, что Танкреди с такой решительностью обеспечил себе преходящее чувственное и непреходящее материальное блаженство. Однако он все же отметил невероятное самомнение молодого человека, который заранее считал, что Анджелика пойдет навстречу всем его желаниям; под конец все эти мысли были вытеснены чувством огромного унижения, которое он испытывал от необходимости вступать по столь интимным вопросам в переговоры с доном Калоджеро, а также досадой, что ему с завтрашнего дня придется начать эти деликатные переговоры и, значит, пускать в ход уловки и всякие предосторожности, которые так претили его львиному нраву.

Содержание письма было изложено доном Фабрицио лишь супруге, когда они улеглись в постель при голубоватом свете масляной лампы, горевшей за стеклянным экраном. Мария-Стелла вначале не вымолвила ни слова — только часто-часто крестилась; потом заявила, что креститься надо бы не правой, а левой рукой; лишь вслед за этим крайним выражением удивления засверкали молнии ее красноречия. Сидя в кровати, она комкала руками простыню, а слова ее, будто красные факелы гнева, полосовали залитую лунным светом спокойную комнату.

— А я-то надеялась, что он женится на Кончетте! Он предатель, как все либералы этой породы: сначала предал короля, теперь предает нас! И лицо у него лживое; слова, как мед, а дела полны яда! Вот что получается, когда вводишь в дом людей не твоей крови!

Настало время для залпа тяжелой артиллерии.

— Я это всегда говорила! Но меня никто не слушает. Я всегда терпеть не могла этого красавчика! Ты один из-за него голову потерял!

На самом деле княгиня также была во власти чар Танкреди, она еще и сейчас любила его, но наслаждение, которое доставляет возможность крикнуть «я это говорила», будучи самым сильным из доступных человеку, начисто смело истину и подлинные чувства.

— А теперь у него хватает наглости просить тебя, своего дядю и князя Салина, отца обманутого им создания, передать о его недостойных

притязаниях этому мошеннику, отцу распутной девки! Ты не должен этого делать, Фабрицио, не должен, ты не сделаешь этого, ты не должен этого делать!

Голос ее становился все громче, тело начинало коченеть. Дон Фабрицио, все еще лежавший на спине, скосил глаз, чтоб удостовериться, есть ли на ночном столике валерьянка. Бутылочка стояла на месте, и даже серебряная ложечка покоилась на пробке; в голубой полутьме комнаты она сияла, как успокоительный огонь маяка, воздвигнутого на случай истерической непогоды. Он хотел было подняться и взять бутылочку, но ограничился тем, что тоже сел на постели, вернув себе таким образом частично утраченный престиж.

— Стеллучча, не говори так много глупостей зараз. Сама не знаешь, что наговорила. Анджелика не девка. Быть может, она ею станет, но пока что это девушка, как все остальные, только красивее; ей просто хочется сделать хорошую партию. Пожалуй, она, как и все, немного влюблена в Танкреди. Пока же у нее деньги — в значительной части наши, но ими слишком хорошо распорядился дон Калоджеро, — а Танкреди в них очень нуждается: он любит барствовать, тщеславен, карманы у него дырявые. Кончетте он никогда ни о чем не говорил; между тем она, едва мы прибыли в Доннафугату, обращалась с ним хуже, чем с собакой. И потом, какой он предатель; просто идет в ногу со временем, в политике, в личной жизни, — вот и все; в конце концов, я не знаю молодого человека приятнее Танкреди, и тебе, моя Стеллучча, это хорошо известно.

Пять огромных пальцев гладили ее маленькую голову. Теперь она всхлипывала; благоразумно выпитый глоток воды остудил пламя ее гнева, и в душе оставалась одна лишь тоска. Дон Фабрицио уже стал надеяться, что не придется вылезать из теплой постели и босыми ногами ступать по холодному полу. Чтобы обеспечить себе спокойствие и на будущее, он напустил на себя ложный гнев.

— Не желаю криков у себя в доме, у себя в комнате, у себя в постели! Никаких «сделаешь» и «не сделаешь»! Я все решил. Решил прежде, чем ты подумать успела! И хватит!

Ненавистник криков теперь сам орал во всю мощь своих огромных легких. Вообразив, что перед ним стол, он с силой обрушил свой большой кулак, но удар пришелся по собственному колену, и боль его утихомирила.

Княгиня была испугана и скулила потихоньку, словно щенок, которому угрожает опасность.

— Теперь спать, завтра иду на охоту, надо встать пораньше. Довольно! Что решено — то решено. Спокойной ночи, Стеллучча.

Он поцеловал жену сначала в лоб, потом в губы. Снова улегся поудобнее, повернулся лицом к стене. На шелку обоев тень от его растянувшегося тела походила на очертания горной цепи в небесной лазури.

Улеглась и Стеллучча. Стоило ей правой ногой коснуться левой ноги князя, и она мигом утешилась, радуясь, что муж у нее такой решительный и гордый. Какое ей дело до Танкреди… и даже до Кончетты…

Теперь, по крайней мере ненадолго, это хождение по острию ножа позабыто вместе с другими треволнениями, исчезнувшими в этой настенной на густом аромате далекого прошлого деревенской роще, где он ежедневно охотился по утрам. Впрочем, не знаю, можно ли назвать ее деревенской, ведь в это понятие входит земля, преображенная трудом, меж тем как роща, цеплявшаяся за склоны холма, благоухала теми же запахами и была точь-в-точь так же запущена, как и во времена, когда финикийцы, дорийцы или ионийцы высаживались на берегах Сицилии, этой Америки древнего мира.

Дон Фабрицио и Тумео, исцарапанные колючками, подымались, спускались, скользили по тропам, под стать какому-нибудь Аркедаму либо Филистрату, которые двадцать пять веков тому назад бродили здесь усталые и в царапинах: они видели вокруг все те же предметы, и столь же липкий пот приставал к их одежде, и тот же равнодушный ветер, дувший с моря, неустанно колыхал кусты мирта и дрока, распространяя вокруг запах тмина. Внезапная стойка собак, их полное патетического напряжения ожидание добычи — все это нисколько не отличалось от времен, когда охотники взывали к богине Артемиде. Жизнь, сведенная к этим наиболее существенным элементам жизнь, с лица которой смыли печальный грим треволнений, казалась вполне терпимой.

Этим утром Аргуто и Терезина, перед тем как взобраться на вершину холма, начали ритуальный танец собак, обнаруживших дичь: скольжение, стойка, осторожный подъем лапы, сдерживаемое рычанье; через несколько минут в траве мелькнул сероволосый зад зверька, и тотчас же два почти одновременных выстрела положили конец молчаливому ожиданию. Аргуто приволок к ногам князя агонизирующую добычу. То был дикий кролик; его не спасла смиренная куртка цвета мела — следы страшных царапин виднелись на мордочке и груди зверька. Дон Фабрицио увидел, как пристально смотрят на него большие черные глаза, которые

быстро затягивались синеватой пеленой; эти глаза глядели на него без упрека, в них было лишь ошалелое страданье, обращенное против всего порядка вещей, бархатные ушки уже похолодели, сильные лапки сжимались ритмично, как бы вновь переживая бесполезное бегство: зверек умирал, мучимый тревожной надеждой на спасенье, воображая, что он еще сможет выкарабкаться, хотя смерть уже схватила его своими когтями, — так часто бывает и с людьми.

Мягкие пальцы князя жалостливо гладили несчастную мордочку; зверек вздрогнул в последний раз, и его не стало, но дон Фабрицио и дон Чиччьо получили свою долю развлечения, причем князь в дополнение к радости, доставленной ему убийством, испытал еще радость успокоения, которое дает сострадание.

Охотники достигли вершины горы и сквозь заросли тамариска и редкие пробковые дубы узрели лицо подлинной Сицилии, при сравнении с которым барочные города и апельсиновые рощи кажутся лишь вычурными украшениями; перед ними расстилался уходящий в бесконечность волнистый безводный простор — горб за горбом иссушенной, горькой и бессмысленной земли; разум человека не мог уловить главных черт этого пейзажа, задуманного в бредовую минуту творенья: казалось, море внезапно окаменело в то мгновенье, когда менявший направление ветер заставил обезуметь волны. Доннафугата, словно забившись в щель, пряталась за еле приметной неровностью почвы, а вокруг не было ни живой души, лишь редкие ряды виноградников свидетельствовали о присутствии человека. Далеко за холмами маячило пятно цвета индиго — море; оно еще бесплодней и соленей этой земли. А над всем этим ветер, он смешивал запахи навоза, падали, шалфея, в своем беспечном порыве уничтожал, устранял и вновь соединял все на свете; ветер осушал капли крови — все, что осталось от кролика на этой земле, — и тот же ветер, пониже в долине, развевал волосы Гарибальди и, еще подальше, швырял пригоршни пыли в глаза неаполитанским солдатам, поспешно укреплявшим бастионы Гаэты, солдатам, обманутым надеждой, такой же тщетной, как и побег смертельно районной дичи.

Под тенью пробковых дубов отдыхали князь и органист: они пили теплое вино из деревянной фляги, ели жареную курицу, извлеченную из ягдташа дона Фабрицио, и нежное, обсыпанное мукой сицилийское печенье, которое захватил с собой дон Чиччьо; пробовали сладкий виноград «инсолия», вкусный, хотя и неказистый на вид, утоляли толстыми

ломтями хлеба голод стоявших перед ними гончих, невозмутимых, как чиновники, занятые изысканием налогов.

Под жаркими лучами солнца дона Фабрицио и дона Чиччьо одолела дремота.

Если ружейный выстрел остановил бег кролика, если нарезные пушки Чальдини приводили в уныние бурбонских солдат, если полуденный зной усыплял людей, то не было на свете силы, которая могла бы остановить муравьев. Привлеченные несколькими испорченными виноградинками, выплюнутыми доном Чиччьо, они наступали плотными рядами, горя желанием овладеть этой горсткой гнили, перемешанной со слюной органиста. Они наступали, исполненные дерзости, двигались в беспорядке, но решительно; группки по трое-четверо задерживались и произносили речи, в которых, разумеется, прославлялась вековая доблесть муравейника № 2 под пробковым дубом № 4 на вершине Монте Морко; затем, присоединившись к остальным своим собратьям, муравьи возобновляли поход в будущее, полное благоденствия; сверкавшие на солнце спинки этих империалистов, казалось, вздрагивали от восторга, и, уж конечно, над их рядами неслись звуки гимна.

По некоторой ассоциации мыслей, которую здесь неуместно уточнять, деловитая возня этих насекомых помешала князю спать и напомнила ему о днях плебисцита, незадолго до того пережитых им в Доннафугате; помимо чувства удивления, эти дни оставили ему немало требующих разрешения загадок; теперь перед лицом природы, которая — если не считать муравьев — конечно, плевала на все эти загадки, быть может, имело смысл попытаться отгадать одну из них. Собаки спали, растянувшись на земле, плоские, как фигурки, вырезанные из дерева; кролик, подвешенный вниз головой к ветке дерева, покачивался под непрерывными порывами ветра, но Тумео благодаря своей трубке еще продолжал бодрствовать.

— А вы, дон Чиччьо, за кого вы голосовали двадцать первого числа?

Бедняга вздрогнул; застигнутый врасплох в минуту, когда он находился за пределами живой изгороди предосторожностей, которую он, как и все его земляки, обычно возводил вокруг себя, органист теперь колебался и не знал, что ответить.

Князь принял за страх смущение, вызванное неожиданностью его вопроса, и разозлился.

— Ну, кого вы боитесь? Здесь только мы да ветер и собаки.

Этот список свидетелей, который должен был действовать успокоительно, по чести говоря, составлен был не слишком удачно; ветер — болтун по природе, а князь — наполовину сицилиец. Полностью можно было довериться только собакам, и то лишь потому, что они лишены дара членораздельной речи.

Дон Чиччьо, однако, вскоре собрался с мыслями, и его крестьянская хитрость подсказала ему верный ответ, иначе говоря, он вообще не дал никакого ответа.

— Простите, ваше превосходительство, но ваш вопрос излишен. Вы знаете, в Доннафугате все проголосовали «за».

Дон Фабрицио об этом знал, но именно такой ответ превращал малозначительную загадку в тайну истории. Многие до плебисцита приходили к нему за советом, и всем он искренне рекомендовал голосовать утвердительно. Дон Фабрицио в действительности даже не представлял себе, как можно было поступить иначе; ведь факт уже свершился, и он признавал его историческую необходимость, сохраняя собственное суждение по поводу банальной театральности самого акта плебисцита; к тому же он считал, что эти бедняги могли попасть в беду, если бы открылось их отрицательное отношение. Однако он убедился, что на многих его слова не подействовали: вступал в силу абстрактный макиавеллизм сицилийцев, который столь часто вынуждал этих в сущности великодушных людей воздвигать сложнейшие постройки на самом хрупком фундаменте. Подобно понаторевшим в лечении больных клиницистам, исходящим, однако, из совершенно ошибочных анализов крови и мочи, исправить которые им мешает лень, сицилийцы в те времена кончали тем, что убивали больного, то есть самих себя, именно в силу утонченнейшей хитрости, которая почти никогда не опиралась на действительное знакомство с делом или по крайней мере с собеседником. Многие из свершивших паломничество ad limine gattopardorum (В пределы леопарда) считали немыслимым, чтоб князь Салина голосовал за революцию (так в этой далекой деревне еще называли недавно происшедшие перемены), и поэтому доводы князя истолковывались как насмешливые выпады, для того чтобы на деле добиться действий, обратных его словам. Эти паломники (причем лучшие из них); покидали его кабинет, понимающе подмигивая, насколько то позволяло почтение к князю, гордые тем, что проникли в смысл его слов; они потирали руки,

радуясь своей проницательности как раз в ту самую минуту, когда она их совершенно покинула.

Другие же, выслушав его, уходили, призадумавшись, глубоко убежденные, что он либо перебежчик, либо просто слабоумный, и твердо решив не слушать его советов, а следовать старинной пословице, которая рекомендует предпочесть уже знакомое зло еще неизвестному благу. Такие люди не желали ратифицировать новую национальную действительность и по своим личным причинам: кто из религиозных убеждений, кто в силу милостей, оказанных прошлым режимом, или недостаточной ловкости, проявленной при включении в новую систему; кто, наконец, оттого, что в суматохе при освобождении у него пропала парочка каплунов или несколько мер бобов; были и такие, у кого взамен появились рога, либо добровольческие, полученные от гарибальдийцев, либо бурбонские — по принудительной мобилизации. Словом, в отношении примерно пятнадцати лиц у него составилось неприятное, но совершенно явное впечатление, что они проголосуют против; конечно, их было незначительное количество, но в маленьком избирательном участке Доннафугаты им пренебрегать не следовало. Кроме того, надо было принять во внимание, что приходившие к нему за советом люди принадлежали к сливкам деревни и, пожалуй, не слишком убежденные могли найтись и среди тех сотен избирателей, которые и помыслить не смели о том, чтобы явиться в замок.

Таким образом, по подсчетам князя, на плебисците примерно человек сорок проголосуют отрицательно.

В день плебисцита стояла ветреная, пасмурная погода; по улицам деревни лениво прохаживались небольшие группы молодых людей, у которых к лейте шляпы были приколоты плакатики, изображавшие длинный ряд сплошных «да». Порывы ветра поднимали с земли обрывки бумаги и всякие отбросы, а молодые люди распевали «Белла Джигуджин» на манер арабских колыбельных песен; впрочем, в Сицилии такая участь уготована любой веселой мелодии. В таверне дядюшки Менико появилось также два-три «чужеземных лица» (пришельцы из Агридженто), которые воспевали «великолепную и прогрессивную судьбу» новой Сицилии после ее присоединения к возрожденной Италии. Кое-кто из крестьян слушал их молча. Все они равно одичали от непомерно тяжкой работы мотыгой и от многих дней вынужденного и голодного безделья. Крестьяне частенько откашливались и плевали наземь, но молчали, молчали столь упорно, что именно тогда (как позже говорил князь) «чужеземные лица» решили в

квадривиуме искусств на первое место поставить арифметику, предпочтя ее риторике.

К четырем часам пополудни князь отправился голосовать. По правую сторону от него следовал падре Пирроне, слева шагал дон Онофрио Ротоло; нахмурив брови и слегка покраснев, князь медленно направлялся к мэрии, то и дело прикрывая рукой глаза, чтоб не дать ветру, подбиравшему на улицах всякую грязь, вызвать у него конъюнктивит, которому князь был подвержен. По пути он излагал падре Пирроне свои соображения относительно того, что, не будь ветра, застоявшийся воздух совсем пропах бы гнилью, но и эти освежающие порывы приносят немало всяческой дряни.

Князь надел тот же черный редингот, в котором два года тому назад отправился в Казерту с визитом к бедному королю Фердинанду, на счастье свое уже скончавшемуся, не дожившему до этого исхлестанного нечистым ветром дня, который как бы поставил печать над концом королевского неразумия.

Но была ли это на самом деле глупость? Тогда придется сказать, что человек, умирающий от тифа, скончался от собственной глупости. Он вспомнил об этом короле, воздвигавшем плотины, чтобы предотвратить разлив ненужных бумаг; вдруг он увидел, какую неосознанную мольбу о милосердии выражало его несимпатичное лицо. Эти мысли были неприятны, как и любые рассуждения, слишком поздно ведущие к пониманию; и вид князя, вся его фигура стали столь торжественны и мрачны, словно он следовал за невидимыми погребальными дрогами. Лишь сила, с которой ноги князя злобным ударом отбрасывали попадавшиеся на пути камешки, выражала эти внутренние противоречия; излишне говорить, что к ленте его цилиндра не были приколоты никакие надписи, однако в глазах тех, кто знал князя, «да» и «нет» то и дело чередовались на сверкающей поверхности его шляпы.

Прибыв в маленький зал мэрии, где происходило голосование, он был удивлен, увидев, что все члены избирательной комиссии встали, как только его фигура заполнила собой проем двери; нескольких пришедших до него крестьян оттеснили в сторону, чтоб не заставить его ждать, и дон Фабрицио вручил свое «да» в патриотические руки дона Калоджеро Седара.

Падре Пирроне вообще не голосовал, поскольку предусмотрительно не внес себя в списки проживающих в деревне. Дон Онофрио, повинуясь

весьма выразительным указаниям князя, высказал свое односложное мнение по запутанному итальянскому вопросу; нужно сказать, что этот шедевр лаконичности был произведен им на свет с той же охотой, с какой ребенок пьет касторку.

По окончании все были приглашены «выпить по рюмочке» наверху, в кабинете мэра, но падре Пирроне и дон Онофрио, выставив убедительные доводы (воздержание от вина у первого и боль в животе у второго), остались внизу. Дон Фабрицио вынужден был в одиночестве атаковать это угощение.

За письменным столом мэра сверкал портрет Гарибальди и (уже появившийся) портрет короля Виктора Эммануила, к счастью висевший справа от Гарибальди. Гарибальди — красивый мужчина, король необыкновенно безобразен, но на портретах их роднила пышная шевелюра, почти скрывавшая лица.

На низеньком столике стояло блюдо с засохшим, приобретшим траурный цвет под воздействием времени и мух; печеньем и дюжина приземистых, до краев наполненных рюмок, четыре с красной, четыре с зеленой, четыре с белой настойкой, в самом центре блюда. Этот наивный символ нового флага вызвал усмешку у князя и смягчил угрызения совести. Он выбрал рюмку белой настойки, считая ее более удобоваримой, а не из чувства запоздалого почтения к бурбонскому знамени, как затем говорили. Впрочем, все три сорта были одинаково переслащены, липки и противны. У присутствующих хватило такта не предлагать тостов. Большая радость, как сказал дон Калоджеро, всегда нема.

Дону Фабрицио показали письмо властей из Агридженто, в котором трудолюбивых граждан Доннафугаты извещали о предоставлении кредита в две тысячи лир для проведения канализации; это строительство, как заверил мэр, должно было завершиться в тысяча восемьсот шестьдесят первом году, причем дон Калоджеро не знал, конечно, что впадает в одну из тех ошибок, механику которых должен был объяснить Фрейд несколько десятилетий спустя. На том собравшиеся разошлись.

До захода солнца несколько женщин легкого поведения (они были и в Доннафугате, однако каждая работала за свой страх и риск) появились на площади, предварительно украсив себе волосы трехцветными ленточками, дабы выразить протест против того, что женщинам не дали право голосовать; поднятые на смех даже самыми горячими либералами, женщины вынуждены были ретироваться, что, впрочем, не помешало

газете «Джорнале ди Тринакриа» четыре дня спустя сообщить палермцам, что в Доннафугате «некоторые любезные представительницы прекрасного пола пожелали выразить свою непоколебимую веру в сияющие судьбы любимейшей родины и устроили манифестацию на площади, встреченную всеобщим одобрением тамошнего патриотического населения».

Затем избирательный участок закрыли, и счетчики принялись за работу. Когда настал вечер, распахнулись двери центрального балкона мэрии, и дон Калоджеро появился в панцире из трехцветной ленты и со всеми регалиями; по бокам его возникли двое служителей с зажженными канделябрами, которые, впрочем, тотчас же безжалостно погасил ветер. Мэр сообщил невидимой во мраке толпе, что в Доннафугате плебисцит дал следующие результаты: внесенных в списки — пятьсот пятнадцать; в голосовании участвовало пятьсот двенадцать, «за» подано пятьсот двенадцать голосов, «против» — ни одного.

Из темной глубины площади донеслись аплодисменты и возгласы «Да здравствует!»

На балкончике своего дома Анджелика вместе со своей мрачной горничной неистово хлопала в ладоши, показывая красивые хищные руки; с балкона мэрии произносились речи; прилагательные, перегруженные окончаниями превосходной степени и сдвоенными согласными, в темноте так и отскакивали от одной стены дома к другой; под треск хлопушек были направлены послания королю (на этот раз новому) и Генералу; несколько трехцветных ракет взвились над деревней и скрылись в черном небе без звезд. К восьми все кончилось, осталась лишь тьма, все та же, что и каждый вечер, та же, что всегда.

На вершине холма Монте Морко воздух прозрачно ясен, здесь струится целый океан света, но мрак той ночи плотной стеной окутывал дона Фабрицио. Неопределенность этой тревоги делала его переживания еще более мучительными; тревога эта не была порождена теми большими проблемами, начало решению которых положил плебисцит: интересы королевства Обеих Сицилий, интересы собственного класса, его личные интересы хоть и понесли в результате этих событий ущерб, но еще сохраняли свою жизненность. Учитывая обстоятельства, нельзя было требовать большего; его тревога не носила политического характера, она

уходила своими корнями глубже, в ту область, которую мы назвали бы иррациональной, ибо она погребена под курганами нашего непонимания собственной природы.

В тот хмурый вечер в Доннафугате родилась Италия, она родилась именно там, в этой позабытой всеми деревне, она родилась в ленивом Палермо, она родилась в дни волнений в Неаполе; но, должно быть, при родах ее присутствовала злая фея, имя которой неизвестно; во всяком случае, она родилась такой, и следовало надеяться, что такой и останется: любая другая форма была бы куда хуже. Согласен. И все же это настойчивое беспокойство что-то означает; князь чувствовал, что за этим слишком сухим перечнем цифр, так же как и за слишком пышными речами, стояла чья-то смерть, и одному господу известно, у какого деревенского порога, в каких извилинах народной совести она скрывалась.

Свежий ветерок развеял сонливость дона Чиччьо, внушительный вид князя рассеял его опасения; теперь на поверхности его совести осталась лишь досада, конечно бесполезная, но не лишенная благородства. Он говорил на диалекте, стоя и жестикулируя. Жалкий шут, который до смешного прав.

— Я, ваше превосходительство, голосовал против. Против, сто раз против. Эчаю, вы мне говорили: необходимость, единство, долг. Пусть вы правы, я в политике слаб. Пусть этим другие занимаются. Но бедный и жалкий дон Чиччьо в рваных штанах (и он хлопал себя по ягодицам, показывая аккуратные заплаты на своих охотничьих брюках) — прежде всего благородный человек. И он не забывает о сделанном ему добре. Эти свиньи из мэрии проглотили мой голос, разжевали его и вместе с испражнениями выпустили наружу в том виде, какой их больше устраивал. Я сказал «черное», а они меня заставляют говорить «белое»! В первый раз смог я сказать, что думаю, так этот кровопийца Седара меня изничтожил. Так сделал, словно меня и на свете нет, словно я ничто, круглый нуль. Но я Франческо Тумео Ла Манна, сын покойного Леонардо, органист собора Богоматери в Доннафугате, я в тысячу раз выше его и даже посвятил ему мазурку, когда у него родилась эта дочь (и тут он укусил себя за палец, чтоб не сказать лишнего)… эта кривляка.

В эту минуту покой вернулся к дону Фабрицио, который наконец разгадал загадку; теперь он знал, кто убит в Доннафугате и в сотне других мест в ту ночь, когда дул гнилой ветер: убита новорожденная, ее звали Добропорядочность, убито именно то создание, о котором более всего

следовало заботиться, ибо его здоровый рост оправдал бы другие глупые и варварские поступки. Голос дона Чиччьо, поданный «против», еще пятьдесят таких голосов в Доннафугате, даже сто тысяч «нет» во всем королевстве не только не изменили бы итог, но придали бы ему большую значительность, и тогда не было бы нужды калечить чьи-то души.

Шесть месяцев тому назад раздавался жесткий, властный, деспотический окрик: «Делай, как я говорю, не то возьму палку!»

Теперь уже создалось впечатление, что на смену угрозе полились мягкие речи ростовщика: «Но раз ты сам подписал? Не видишь разве? А все так ясно. Ты должен делать, как мы говорим, взгляни-ка на вексель — твоя воля равнозначна нашей».

Голос дона Чиччьо еще гремел.

— Для вас, синьоров, это дело другое. Можно не проявить благодарности еще за одно пожалованное поместье, но быть признательным за кусок хлеба — это долг. Опять же другое дело для дельцов вроде Седара, для них выгода — закон природы. Для нас, людей маленьких, все по-иному. Вы знаете, ваше превосходительство, мой покойный отец был хранителем охоты в королевском замке Сант Онофрио еще при Фердинанде IV, когда здесь были англичане. Жилось тогда тяжело, но зеленый придворный мундир и серебряная бляха давали власть. Королева Изабелла, испанка, в ту пору герцогиня Калабрии, послала меня учиться и позволила мне стать тем, чем я стал, — органистом собора Богоматери, заслужившим благорасположение вашего превосходительства. В самые тяжелые годы, когда мать обращалась за помощью ко двору, пять унций поступали столь же надежно, как к человеку приходит смерть: ведь нас любили в Неаполе, знали, что мы люди порядочные, верноподданные; король, когда приезжал, хлопал моего отца по плечу. «Дон Лиона, хотел бы я, чтоб все были, как вы, верной поддержкой трону и моей особе». Затем адъютант раздавал золотые монеты. Теперь они называют это милостыней, но то было великодушие настоящих королей; говорят так, лишь бы самим ничего не давать, но то была справедливая награда за преданность. Если сегодня на меня с небес глянут святые короли и прекрасные королевы, что я скажу им? «Сын дона Леонардо Тумео предал вас!» Хорошо еще, что в раю знают правду. Понимаю, ваше превосходительство, понимаю, такие люди, как вы, мне объяснили — эти поступки королевских особ ничего не значат, так им полагается по роду их занятий. Пусть так; ведь так оно, пожалуй, и есть. Но пять унций — это факт, а с пятью унциями можно

было зиму протянуть. Теперь же, когда я смог уплатить свой долг, мне говорят: «Нет, ты вообще не существуешь». Мое «нет» становится «да». Был я верным подданным, а стал паршивым бурбонцем. Теперь они все за короля савойского, а для меня савойцы — тьфу! Я их кофеем запиваю! (Игра слов: в Италии есть «савойский» сорт печенья) — И, сделав вид, что он держит меж большим и указательным пальцем печенье, он размачивал его в воображаемой чашке кофе.

Дон Фабрицио всегда любил дона Чиччьо, но то было чувство, порожденное состраданием, какое вызывает человек, который в молодости посвятил себя искусству, а в преклонных годах, убедившись в отсутствии таланта, продолжает все ту же деятельность опускаясь все ниже, спрятав в глубь кармана свои поблекшие мечты. Сострадание вызывала и его исполненная достоинства бедность. Теперь же он испытывал нечто похожее на восхищение, и чей-то голое, подымаясь из глубин его высокомерного сознания, спрашивал: не случилось ли так, что дон Чиччьо повел себя благороднее князя Салина? И не совершили ли Седара, все эти Седара, начиная с того маленького, который насиловал арифметику в Доннафугате, кончая теми, что покрупнее и находились в Палермо и Турине, не совершили ли они преступления, удушив совесть таких людей? Тогда дон Фабрицио не мог этого знать, но добрая доля равнодушия и примиренчества, за которые в последующие десятилетия клеймили людей итальянского Юга, истоком своим имела именно это нелепое уничтожение первого проявления свободы, доселе никогда этими людьми не виданной.

Дон Чиччьо отвел душу. Теперь столь редкое и подлинное воплощение «сурового благородства» уступило у него место другой, гораздо более распространенной и не менее естественной разновидности снобизма. Ведь Тумео принадлежал к зоологической породе «пассивных снобов», которые особенно теперь подвергаются несправедливому осуждению. Конечно, в Сицилии 1860 года слово «сноб» было неведомо; но, подобно тому как и до Коха существовали туберкулезные больные, и в то допотопное время жили люди, для которых привычка подчиняться и подражать тем, кого они полагали стоящими выше себя в общественном отношении, и особенно боязнь причинить им какое-либо огорчение стали высшим законом жизни; сноб на самом деле прямая противоположность завистнику. Тогда снобы представали под различными именами: их называли людьми «преданными», «глубоко привязанными», «верными». Жили они счастливо, потому что мимолетной улыбки на Лице аристократа хватало, чтоб наполнить солнцем их день, а недостатка в этих живительных

милостях не было, они расточались чаще, нежели сегодня, хотя бы по той причине, что само появление этих людей сопровождалось уже упомянутыми нами ласкательными прилагательными.

Итак, но причине своей снобистской сердечности дон Чиччьо опасался, не огорчил ли он дона Фабрицио; это вынуждало его к поспешным поискам средства, которое могло бы разогнать тучи, скопившиеся, как он полагал, по его вине над олимпийским челом князя; наиболее спасительным средством в этот момент было предложение снова заняться охотой, что и было сделано. Несколько несчастных бекасов и еще один кролик, застигнутые врасплох во время полуденного сна, пади под выстрелами, которые в тот день отличались особенной точностью и беспощадностью, потому что как Салина, так и Тумео с удовольствием отождествляли несчастных животных с доном Калоджеро Седара. Однако ни оглушительная пальба, ни клочья шерсти и перьев, которые после выстрелов взлетали, сверкая на солнце, сегодня не могли успокоить князя; по мере того, как проходили часы и близилось возвращение в Доннафугату, чувство озабоченности, досады и унижения от предстоящего и неизбежного разговора с плебеем мэром все более угнетало князя; ему не помогло даже и то, что он назвал двух бекасов и кролика «доном Калоджеро»; хоть он и решил проглотить эту отвратительную жабу, но все же чувствовал потребность подучить о противнике более полные сведения, или, точней, позондировать, как откликнется общественное мнение на шаг, который он намеревался предпринять. Вот почему дон Чиччьо вторично в этот день был застигнут врасплох обращенным к нему в упор вопросом: «Дон Чиччьо, послушайте-ка меня, вы знаете стольких людей в деревне, скажите, что же на самом деле думают в Доннафугате о доне Калоджеро?»

По правде говоря, Тумео казалось, что он уже достаточно ясно изложил свое мнение о мэре; в таком духе он и собирался было ответить, но ему живо припомнились шепотком передававшиеся слухи насчет того, какими умильными глазками дон Танкреди разглядывал Анджелику, и он внезапно испытал чувство досады, вызванное тем, что увлекся своими обвинениями, которые, разумеется, не могут прийтись по вкусу князю, раз все сказанное верно; меж тем другая частица его мозга радовалась: ведь он не сказал, ничего определенно плохого по адресу Анджелики — легкая боль, которую он еще ощущал в укушенном им указательном пальце, теперь воспринималась как действия целительного бальзама.

— В конце концов, ваше превосходительство, дон Калоджеро Седара не хуже многих тех, кто пошел в гору за эти последние месяцы.

Похвала звучала умеренно, но тем не менее позволила дону Фабрицио проявить настойчивость.

— Видите ли, дон Чиччьо, мне очень важно знать правду о доне Калоджеро и его семье.

— Правда, ваше превосходительство, в том, что дон Калоджеро очень богат и вдобавок очень влиятелен; и в том, что он скуп (когда дочь их была в колледже, он вместе с женой съедал на завтрак яичницу из одного яйца), но, когда нужно, он умеет пустить пыль в глаза, а поскольку каждый истраченный грош в конце концов попадает в чей-нибудь карман, вот и случилось, что теперь от него зависят многие; нужно, однако, сказать, что дружбу он ценить умеет: за свою землю семь потов сгонит, и крестьянам приходится с голоду подыхать, чтоб внести аренду, но с месяц тому назад он одолжил пятьдесят унций Пасквале Триппи, который помог ему во время десанта, и, верите ли, одолжил без процентов, а это самое великое чудо, сотворенное с той поры, как святая Розалия прекратила чуму в Палермо. Впрочем, он умен, как черт: вы, ваше превосходительство, должны были видеть его в прошлый апрель или май, когда он, как летучая мышь, шнырял по всей округе в повозке, верхом на муле или пешком в любую погоду, а там, где он побывал, возникали тайные кружки и готовился прием для тех, кого поджидали. Божья кара, ваше превосходительство, кара господня! А ведь это лишь начало карьеры дона Калоджеро; через несколько месяцев он станет депутатом парламента в Турине, а через несколько лет, когда поступит в распродажу церковное имущество, он за сущие гроши приобретет поместья в Марка и Фондакелло и станет самым крупным землевладельцем в провинции. Вот каков дон Калоджеро, ваше превосходительство, — новый человек, каким ему полагается быть; жаль только, что он должен быть таким.

Дон Фабрицио вспомнил о своей беседе с падре Пирроне несколько месяцев тому назад в залитой солнечным светом обсерватории. Осуществлялось предсказанное иезуитом? Но разве неправильна тактика включения в новое движение, чтобы хоть отчасти обратить его на пользу отдельных представителей своего класса? Досада от неизбежного разговора с доном Калоджеро ощущалась уже не столь остро.

— Ну, а другие члены его семьи, каковы на самом деле они, дон Чиччьо?

— Ваше превосходительство, жену дона Калоджеро никто, кроме меня, не видел годами. Она выходит из дому лишь в церковь, к первой мессе, которая бывает в пять утра, когда еще никого нет. Эту мессу служат без органа, но я однажды нарочно поднялся на рассвете, чтобы взглянуть на нее поближе. Донна Бастиана вошла с горничной, я спрятался за исповедальней и не мог разглядеть хорошо, но под конец службы жара одолела бедную женщину, и она откинула черную вуаль. Слово чести, ваше превосходительство, жена его прекрасна, как солнце, и нельзя упрекать дона Калоджеро, если этот скаред хочет держать ее подальше от людских глаз. Но даже из домов, которые хорошо оберегают, доносятся вести: прислуга всегда болтает — и вот известно, что донна Бастиана не человек, а так, вроде животного: читать, писать не умеет, времени на часах определить не может, говорить толком не научилась. Не женщина — красивая кобылица, груба и страстна, только и всего. Даже дочь свою не любит, только и пригодна для постели.

Дон Чиччьо, ученик королев и спутник князя, весьма дорожил своими простыми манерами, которые считал совершенными. Теперь он улыбался, довольный тем, что изобрел способ отомстить тому, кто растоптал его самолюбие.

— Впрочем, иначе и быть не могло. Знаете, ваше превосходительство, чья дочь донна Бастиана?

Повернувшись, он поднялся на носках и показал пальцем на несколько видневшихся вдали хижин, которые, казалось, скользили вниз с холма к обрыву и лишь с трудом удерживались жалкой колокольней.

— Донна Бастиана — дочь одного из ваших испольщиков из Рунчи. Пеппе Джунта его звали, но был он столь грязен и дик, что его прозвали Пеппе Дерьмо, простите за грубое слово, ваше превосходительство.

Довольный своей речью, он обернул вокруг пальца ухо Терезины.

— Через два года после того, как дон Калоджеро бежал с Бастианой, старика нашли мертвым на трене, ведущей к Рампинцери; двенадцать охотничьих пуль выпустили бедняге в спину; дону Калоджеро во всем удача; а старик действительно наглел и только мешал ему.

Многое из этого было и ранее известно дону Фабрицио и списано им в баланс; но, прозвище деда Анджелики он услышал впервые: оно открывало перед ним глубокую историческую перспективу, за ним виднелись другие пропасти, по сравнению с которыми дон Калоджеро был

садовой грядкой с цветами. Князь почувствовал, что почва уходит у него из-под нос: как сможет Танкреди проглотить и это? А он сам? В уме он принялся подсчитывать, какие родственные связи смогут объединить князя Салина, дядю жениха, с дедушкой невесты? Но не обнаружил их, таких связей попросту не было. Анджелика была Анджеликой, цветущей, как роза, девушкой, которой прозвище деда послужило лишь удобрением.

— Non olet, — повторил он, — non olet, более того, optime feminam ac contubernium olet (Не пахнет, не пахнет… прекрасная женщина благоухает, как брачное ложе).

— Обо всем вы говорите мне, дон Чиччьо, — о матерях одичавших, о дерьмовом деде, но не о той, кто меня интересует, — о синьорине Анджелике.

Тайна брачных намерений Танкреди, всего несколько часов тому назад еще пребывавших в эмбриональном состоянии, конечно, была бы уже раскрыта, если бы сами эти намерения, к счастью, не были истолкованы по-иному. Спору нет, не могли остаться без внимания частые посещения дома дона Калоджеро молодым человеком, так же как его восторженные улыбки, тысячи маленьких знаков расположения, столь обычных и неприметных в городе, но перерастающих в симптомы бурной страсти в глазах добродетельных жителей Доннафугаты.

Наиболее скандальное впечатление произвел первый визит Танкреди. Старички, жарившиеся на солнце, и мальчишки, воевавшие друг с другом в пыли, все видели, все поняли, все передали; было заслушано мнение опытнейших мегер, которые подтвердили, что принесенный Танкреди десяток персиков должен был возбудить страсть и послужить целям сводничества; для консультации были привлечены даже книги, содержащие разоблачения чародейства, а среди них в первую очередь сочинения Руттилио Бенинказа, этого крестьянского Аристотеля. К счастью, произошло нечто частенько у нас случающееся: желание быть хитрее всех скрыло истину; у всех возник образ распутного Танкреди, избравшего Анджелику жертвой своих порочных вожделений. Решили, что он стремится соблазнить ее. Вот и всё. Простая мысль о бракосочетании между князем Фальконери и внучкой Пеппе Дерьма даже не промелькнула в воображении этих деревенских жителей, которые тем самым оказали феодальной знати ту же почесть, какую хулитель оказывает Богу. Отъезд Танкреди положил конец всем этим домыслам, и разговоры стихли. Тумео в этом деле был под стать другим, и потому вопрос князя

вызвал на его лице веселую улыбку, которая обычно появляется у людей пожилых при упоминании о шалостях молодежи.

— Ваше превосходительство, о синьорине ничего не скажешь — она сама за себя говорит; глаза, цвет лица, осанка — все говорит языком ясным и каждому понятным. Думаю, и дон Танкреди его понял, если не смело с моей стороны так полагать? В ней материнская красота, но только без запаха хлева, который шел от деда! А потом, до чего ж она умна! Вы видели, как она переменилась за те несколько лет, что провела во Флоренции? Прямо синьорой стада, — продолжал равнодушный к тонкостям дон Чиччьо. — Говорю вам, самой стоящей синьорой. Когда вернулась из колледжа, затащила меня к себе в дом и сыграла мою старую мазурку; скверно играла, но сама-то — одно загляденье: черные косы, глаза, ноги, грудь… У-у-ух! Что и говорить! Не хлевом, а райским блаженством пахнут ее простыни!

Князь рассердился: гордость класса, даже когда он вырождается, столь щекотлива, что его до боли оскорбили восторженные похвалы будущей невестке; как посмел дон Чиччьо в столь похотливо-чувственном тоне говорить о будущей княгине Фальконери! Правда, бедняга об этом ничего не знал, следовало рассказать ему; ведь через три часа новость будет известна всем. Он тотчас же решил сказать об этом и с улыбкой, дружеской, но вместе с тем напоминающей об оскале леопарда, обратился к органисту:

— Успокойтесь, дорогой дон Чиччьо, успокойтесь: дома у меня лежит письмо от племянника, который поручает мне просить от его имени руки синьорины Анджелики; отныне вы будете отзываться о ней с вашей обычной почтительностью. Вы первым узнаёте рту новость, но вам за эту привилегию придется заплатить: по возвращении в замок вы вместе с Терезиной будете заперты на ключ в ружейной; вам хватит времени, чтоб почистить и смазать все ружья, на свободу вы выйдете лишь после визита дона Калоджеро; и я не хочу, чтоб что-либо стало известно прежде времени.

Все сто предосторожностей, все сто оттенков снобизма дона Чиччьо рухнули внезапно, подобно кеглям, когда удар приходится по самой середине. Лишь одно исконное чувство безотказно владело им теперь.

— Ваше превосходительство, это свинство! Ваш племянник не должен жениться на дочери того, кто враг вам, кто всегда подставлял вам ножку. Соблазнить ее, как я думал, — вот это была бы победа, а женитьба —

безоговорочная капитуляция. Это конец Фальконери, это конец и для всех Салина.

Высказавшись, он понурил голову; охваченный тревогой, он сейчас желал только одного — чтоб земля разверзлась у него под ногами. Князь густо покраснел до самых ушей, казалось даже, что его глазные яблоки налились кровью. Он сжал свои молотоподобные кулаки и сделал шаг по направлению к дону Чиччьо. Но князь был человеком науки: он прежде всего рассматривал все доводы «за» и «против»; кроме того, надо иметь в виду, что, невзирая на львиный облик, он был скептиком по натуре. К тому же он столько перенес за этот день: итоги плебисцита, прозвище деда Анджелики, эти выстрелы в спину! Прав Тумео, в нем говорит неподдельный голос традиции. Но все же он просто глуп; этот брак не означает конца, он будет началом всего. Этот брак отнюдь не идет вразрез с лучшими традициями.

Кулаки разжались, но на ладонях видны были следы ногтей.

— Пошли домой, дон Чиччьо. Есть вещи, которых вам не понять. Мы же с вами друг друга поняли и сохраним прежнее согласие?

Когда оба спускались к дороге, трудно было сказать, кто из них Дон Кихот, а кто, Санчо Панса.

Князь еще не закончил свой туалет, когда ему ровно в половине пятого доложили о пунктуальнейшем появлении дона Калоджеро; он велел просить синьора мэра немного подождать в кабинете, а сам спокойно продолжал наводить красоту. Смазал волосы аткинсоновским «лайм джус» — эта густая беловатая жидкость в ящиках прибывала к нему из Лондона, а ее название претерпевало здесь те же этнические искажения, что и мотивы песенок; черный редингот был им отвергнут и заменен рединготом нежно-лилового цвета, который, как ему казалось, более подходил к предполагаемому праздничному случаю; он повозился еще немного, удаляя пинцетом обнаглевший золотистый волосок, которому удалось уцелеть во время поспешного бритья сегодня утром, а затем велел позвать падре Пирроне; прежде чем покинуть комнату, он взял со стола свернутый журнал «Blatter der Himmelforschung» («Астрономические записки») и перекрестился при его помощи — жест благочестивый, однако утрачивающий в Сицилии чаще, нежели это думают, свое религиозное значение.

Проходя двумя комнатами, отделявшими его от кабинета, он тешил себя иллюзией: вот сильный, внушительного вида Леопард, с гладкой, благоухающей кожей, готовится разорвать на части трусливого шакалишку. Но в силу невольной ассоциации мыслей — подлинного бича подобных ему натур — в его памяти всплыла картина, изображавшая один из эпизодов французской истории: австрийские маршалы и генералы, увешанные орденами и в шляпах с султанами, идут, чтобы сдаться на милость насмешливому Наполеону; они куда изящней его, в том нет сомнений, но победил вот этот человечек в серой шинели. Оскорбленный столь некстати воскресшими воспоминаниями о Мантуе и Ульме, в кабинет вошел уже выведенный из равновесия Леопард.

Там его стоя поджидал дон Калоджеро, маленький, худенький, плохо выбритый; он бы и впрямь походил на шакалишку, если бы не его глазки, в которых так и светился хитрый ум; но так как ум дона Калоджеро был направлен лишь к целям материальным в противоположность князю, который полагал, что стремится к достижению целей абстрактных, все считали его человеком ловким и коварным. Не обладая способностью выбрать костюм соответственно обстоятельствам — врожденное качество князя, — мэр счел необходимым одеться чуть ли не в траур; на нем было почти столько же черного цвета, сколько на падре Пирроне, который сидел в углу с отсутствующим, каменным выражением на лице, какое появляется у священников, когда они хотят показать, что не желают влиять на чужие решения; в то же время вся физиономия мэра свидетельствовала о столь жадном ожидании, что на него мучительно было глядеть.

Немедленно начался обмен малозначительными колкостями, который предшествует большим словесным битвам. И все же именно дон Калоджеро первым перешел к общей атаке.

— Ваше превосходительство, — спросил он, — вы получили хорошие известия от дона Танкреди?

В те времена в небольших деревнях мэр имел возможность полуофициально контролировать переписку, и, быть может, его насторожила необычно изящная бумага, на которой было написано письмо Танкреди.

Князь пришел в раздражение, как только его осенила эта мысль.

— Нет, дон Калоджеро, нет. Мой племянник сошел с ума…

Но есть Бог, покровительствующий князьям. Имя этого Бога — Благовоспитанность. Он частенько вмешивается, чтоб уберечь леопардов от неразумных шагов. Однако ему за это приходится платить большую дань. Подобно тому как Паллада вмешалась, чтоб обуздать несдержанность Одиссея, Бог Благовоспитанности явился перед доном Фабрицио, чтоб остановить его на краю пропасти; князю за свое опасение, пришлось заплатить тем, что он единственный раз в жизни назвал вещи своими именами. И он с необыкновенной естественностью, без всякой задержки закончил фразу:

— …сошел с ума от любви к вашей дочери, дон Калоджеро. И написал мне об этом вчера.

Мэр сохранял необыкновенное равнодушие. Он едва улыбнулся и принялся старательно разглядывать ленту на собственной шляпе; падре Пирроне возвел очи к потолку, словно являлся знатоком строительного дела, которому надлежало определить его прочность. Князь почувствовал себя скверно; это совместное молчание лишало его даже того мелкого удовлетворения, которое ему доставило бы удивление собеседников.

— Я знал об этом, ваше превосходительство, знал. Во вторник, двадцать пятого сентября, накануне отъезда дона Танкреди, видели, как они целовались. В вашем саду у фонтана. Лавровая изгородь не так уж плотна, как думают. Я месяц ждал решительного шага со стороны вашего племянника и собирался спросить у вашего превосходительства, каковы его намерения.

Рой больно жалящих ос вихрем налетел на дона Фабрицио.

Прежде всего им овладело чувство ревности, естественное у мужчины, еще не превратившегося в развалину: Танкреди вкусил аромат сливок и ягод, который ему никогда не дано будет познать. Затем пришел черед социального унижения: он из носителя радостной вести превратился в обвиняемого. Но была тут и личная досада человека, который полагал, что ему все подвластно, а на самом деле убедился, что многое происходит без его ведома.

— Дон Калоджеро, не будем подтасовывать карты во время игры. Вспомните, это я велел вас позвать. Хотел сообщить вам о письме племянника, полученном вчера. Он признается в своей страсти к вашей дочери, страсти (тут князь несколько замешкался, потому что порой бывает нелегко лгать, когда тебя буравит взгляд такого человека, как мэр)

…о силе которой я до сих пор не знал; в заключение он поручает мне просить у вас руки синьорины Анджелики.

Дон Калоджеро продолжал оставаться невозмутимым, падре Пирроне из эксперта по жилищному строительству превратился в мусульманского мудреца; скрестив четыре пальца правой руки с четырьмя пальцами левой, он принялся вращать оставшиеся таким образом свободными большие пальцы, то и дело меняя направление их движения с подлинной хореографической фантазией. Молчание затянулось, и князь потерял терпение.

— Теперь, дон Калоджеро, я жду, чтобы вы сообщили мне о своих намерениях.

Мэр, который не сводил глаз с оранжевой бахромы на кресле князя, на мгновение прикрыл глаза правой ладонью, затем встал; теперь в его взгляде светилось чистосердечие и искреннее удивление, казалось, что глаза не его, что в этот миг он их подменил.

— Простите, князь (столь внезапное опущение «превосходительства» дало дону Фабрицио понять, что дело шло к счастливой развязке). Прекрасное, но столь неожиданное известие лишило меня дара речи. Видите ли, я современный отец и смогу сообщить вам окончательный ответ, лишь получив согласие нашего ангела, который принес утешение в наш дом. Но я умею пользоваться священным правом отца и знаю, что чувства дона Танкреди, который всем нам оказывает честь, будут встречены искренней взаимностью.

Дон Фабрицио почувствовал неподдельное облегчение: жаба была проглочена, разжеванная голова и кишки спускались по глотке, оставалось еще разжевать лапки, но это уже пустяк по сравнению с остальным — главное сделано. После того как князь насладился этим чувством освобождения, в нем заговорила привязанность к Танкреди — он представил себе, как засверкают узкие голубые глаза, читая торжественный ответ, представил, или, лучше сказать, припомнил, первые месяцы после брака, совершенного по любви, когда безумие и акробатическая изощренность чувств благословляются и прикрываются всем сонмом небесных ангелов, доброжелательных, хотя и полных удивления. Но он глядел еще дальше и видел обеспеченную жизнь Танкреди, которая позволит развиться его талантам — без денег у них были бы подрезаны крылья.

Князь поднялся, сделал шаг в сторону ошеломленного дона Калоджеро, поднял его с кресла и прижал к груди; короткие ноги мэра при этом повисли в воздухе. В этой комнате глухой сицилийской провинции была в точности воспроизведена японская гравюра, изображающая огромный фиолетового цвета ирис, на лепестке которого повисла большая волосатая муха. Когда ноги дона Калоджеро снова коснулись пола, дон, Фабрицио подумал: «Дальше так продолжаться не может, придется подарить ему пару английских бритв…»

Падре Пирроне прекратил вихревые движения своих больших пальцев, встал и пожал руку князю.

— Ваше превосходительство, да снизойдет господня благодать на этот брак. Ваша радость стала моей.

Дону Калоджеро он подал лишь кончики пальцев, не сказав ни слова. Затем косточкой пальца обследовал висевший на стене барометр — давление падало, все предвещало дурную погоду. Иезуит снова уселся на свое место, открыл молитвенник.

— Дон Калоджеро, — сказал князь, — в основе всего лежит любовь этих двух молодых людей, единственный фундамент их будущего счастья. На этом можем поставить точку — нам это известно. Но мы с вами люди пожилые, люди пожившие, в вам приходится думать и о многом прочем. Бесполезно говорить вам, насколько знатен род Фальконери: прибыв в Сицилию с Карлом Анжуйским, он процветал и при королях арагонских, испанцах и королях бурбонских (если мне позволено назвать их в вашем присутствия), и я уверен, что этот род будет благоденствовать и при новой континентальной династии. Дай-то Бог! (У князя никогда нельзя было отличить иронию от оговорки.) Фальконери были пэрами королевства, испанскими грандами, кавалерами ордена Сант-Яго, им достаточно палец поднять, чтоб стать кавалерами мальтийского ордена; если им это только взбредет в голову, можете не сомневаться, на виа Кондотти для них испекут грамоту быстрей сдобной булочки, но крайней мере так обстояло дело до сего дня. Этот низкий вымысел был совершенно напрасен, поскольку дон Калоджеро не имел ни малейшего понятия о статуте иерусалимского ордена св. Джованни.) Я убежден, что редкая красота вашей дочери еще больше украсит старинное древо Фальконери и что добродетелью своей ваша дочь сможет состязаться со святыми княгинями этого рода, последняя из которых, моя покойная сестра, разумеется, пришлет с небес свое благословение новобрачным.

И дон Фабрицио снова растрогался, вспомнив о своей дорогой Джулии, вся загубленная жизнь которой стала вечной жертвой, принесенной во имя бешеных выходок отца Танкреди.

— Что до мальчика, вы его знаете, а если б не знали, то я здесь поручусь вам за него во всем; в нем заложены тонны добра, и не только я один так думаю, не правда ли, падре Пирроне?

Почтенный иезуит, оторванный от своего чтения, внезапно вновь предстал перед мучительной дилеммой. Он был духовником Танкреди и знал о многих его прегрешениях; не было среди них, разумеется, ни одного поистине тяжкого греха, но каждый из них мог, во всяком случае, на несколько центнеров уменьшить вес той кучи добродетелей, о которой шла речь, кроме того, все его грехи (и в данном случае об этом уместно вспомнить) служили надежной гарантией супружеской неверности. Само собой разумеется, что это не могло быть высказано как из светского приличия, так и по причинам, связанным с тайной исповеди. Падре Пирроне любил Танкреди и никогда бы не произнес ни слова, которое могло бы хоть как-то помешать или несколько, омрачить этот брак, который он в глубине души не одобрял. Иезуит нашел прибежище в Осторожности, наиболее гибкой из всех добродетелей человека.

— Неизмерима глубина доброты нашего дорогого Танкреди, и я скажу вам, дон Калоджеро, что он при поддержке небесной благодати и земных добродетелей синьорины Анджелики сможет однажды стать хорошим христианским супругом.

Это пророчество, рискованное но обусловленное осторожностью, не вызвало возражений.

— Однако, дон Калоджеро, — продолжал князь, пережевывая последние косточки жабы, — если незачем говорить вам о древности рода Фальконери, то, к моему прискорбию, столь же бесполезно — ибо вам уже это известно — говорить о том, что нынешнее материальное положение моего племянника не находится на высоте его имени. Отец дона Танкреди, мой шурин Фердинандо, не был что называется предусмотрительным отцом: пышный образ жизни большого синьора и легкомыслие его управляющих причинили тяжелый ущерб состоянию моего дорогого племянника и бывшего питомца; обширные поместья под Маццарой, фисташковая роща в Раванузе, плантации тутового дерева в Оливери, замок в Палермо — все, все пошло прахом, и вы знаете об этом, дон Калоджеро.

Дону Калоджеро и впрямь это было известно — самый знаменательный перелет ласточек, какой он помнил на своем веку; воспоминание о нем если не настораживало, то все же наводило страх на всю сицилийскую знать и в то же время доставляло радость всем Седара.

— За время моей опеки мне удалось спасти одну лишь виллу, ту, что рядом с моей; я сумел это сделать лишь благодаря множеству юридических уловок и кое-каким жертвам, которые я, впрочем, с радостью принес во имя блаженной памяти моей сестры Джулии и ради привязанности к дорогому мне мальчику. Это прекрасная вилла: лестница расписана Марвулья, а салоны украшал Серенарио, но в нынешнем состоянии она едва ли может служить даже хлевом для коз.

Последние косточки жабы оказались куда неприятней, чем предполагалось, но в конце концов были проглочены и они. Теперь следовало прополоскать рот какой-нибудь приятной, впрочем, вполне искренней фразой.

— Но, дон Калоджеро, в итоге всех этих бед на свет появился Танкреди. Мы-то хорошо знаем, как это бывает, может быть, для того, чтоб у мальчика было столько благородства, очарования, тонкости, как раз и требовалось, чтобы предки его промотали с полдюжины больших состояний. По крайней мере в Сицилии дело обстоит именно так; вероятно, это закон природы, подобный тем, которые управляют землетрясениями и засухами.

Он замолчал, когда появился лакей с двумя зажженными лампами на подносе. Пока лампы ставились на свои места, в кабинете по желанию князя воцарилось молчание, полное легкой грусти. Затем он продолжал:

— Танкреди — незаурядный юноша, дон Калоджеро, он не только благороден и изящен; правда, он обучался мало, но знает все, что следует знать: он знает мужчин и знает женщин, знает обстоятельства и цвет времени. Танкреди тщеславен, и у него есть к тому все основания. Он далеко пойдет, и ваша Анджелика, дон Калоджеро, будет счастлива, если захочет подняться с ним вместе по этому пути. Скажу еще, что Танкреди может порой рассердить, но с ним никогда не заскучаешь, а это очень важно.

Будет преувеличением сказать, что мэр оценил светские тонкости этой части речи князя; в целом она лишь подтвердила его собственное общее впечатление о Танкреди как о человеке ловком и умеющем ко всему приспособиться; а у себя в доме он нуждался именно в человеке

изворотливом и шагающем в ногу со временем; ничто иное его не интересовало. Он чувствовал себя равным любому, — и ему даже было огорчительно, что дочь его проявляет некое подобие чувственной привязанности к этому красивому юнцу.

— Князь, я знал и об этом, и еще кое о чем. Все это для меня не важно. — И мэр облекся в сентиментальные одежды. — Любовь, ваше превосходительство, любовь — она все. И мне дано было это знать.

Быть может, бедняга говорил искренне, если только согласиться с тем определением любви, которое, по всей вероятности, могло от него исходить.

— Но я человек светский и тоже хочу выложить свои карты на стол. Бесполезно говорить о приданом моей дочери, она кровь сердца моего, плоть от плоти моей, нет у меня никого, кому бы я мог оставить то, чем обладаю; все, что мое, принадлежит ей. Но будет справедливо, чтоб молодые люди знали, на что они могут рассчитывать тотчас же. В брачном контракте я выделяю своей дочери поместье в Сеттесоли, шестьсот сорок четыре сальма, или, как теперь говорят, тысяча десять гектаров, земли, вся земля под пшеницей, качество самое лучшее; земли влажные и расположены в доступных ветрам, местах; в придачу еще сто восемьдесят сальма виноградников и оливковых рощ в Джибильдольче; в день бракосочетания я вручу жениху двадцать полотняных мешочков, в каждом из них будет лежать по десять тысяч унций. Сам же я остаюсь с посохом в руках, — добавил он, убежденный, что ему не поверят, чего он, впрочем, желал. — Но дочь есть дочь. А на такие средства можно переделать все лестницы Марруджа и все расписанные Сорчионарио потолки, какие только есть на свете. Анджелика должна жить в хорошем доме.

Невежество и вульгарность так и брызгали из каждой поры его существа, но собеседники были ошеломлены; дону Фабрицио потребовалось пустить в ход все самообладание, чтобы скрыть удивление: прицел Танкреди оказался более метким, чем можно было предположить.

Чувство отвращения вновь готово было овладеть князем, но красота Анджелики и привлекательность жениха еще раз прикрыли завесой поэзии уродство брачного контракта.

Падре Перроне, услышав условия контракта, прищелкнул языком, затем, недовольный, что не сумел скрыть своего изумления, попытался найти рифму к этому неожиданно произведенному им звуку и с этой целью заставил заскрипеть под собой стул и ботинки. Не ограничиваясь этим, он

принялся с шумом перелистывать молитвенник, но все понапрасну: впечатление осталось.

К счастью, единственное за всю беседу не слишком продуманное заявление дона Калоджеро вывело всех из неловкости.

— Князь, я знаю, что на вас не произведет впечатления то, что я сейчас вам сообщу: ведь вашему роду положила начало любовь самого императора Тита к королеве Беренике; но Седара также принадлежит к благородной ветви; до меня их преследовали беды, и они похоронили себя в глубокой провинции, живя без блеска; но у меня в столе лежат все бумаги, они в порядке, настанет день, и вы узнаете, что ваш племянник женился на баронессе Седара дель Бискотто. Этот титул, пожалованный его величеством Фердинандом. IV, внесен в акты порта Маццара. Я должен заняться этим делом — не достает лишь одного звена.

Недостающие звенья родословной, дарственные грамоты, почти равнозвучные имена — все это сто лет тому назад являлось важным элементом в жизни многих сицилийцев и заставляло тысячи достойных и менее достойных лиц испытывать перемежающиеся состояния восторга и подавленности; но сама по себе эта тема слишком значительна, чтобы говорить о ней походя, поэтому здесь мы ограничимся констатацией того, что геральдический выпад дона Калоджеро доставил князю несравненное эстетическое удовлетворение — он смог увидеть определенный человеческий тип во всей полноте проявления его частных особенностей. Сдавленный смех до тошнотворности усладил князя.

Вслед за этим беседа растеклась по многим бесполезным ручейкам; дон Фабрицио вспомнил о Тумео, запертом в темноте ружейной комнаты, и в который раз ощутил досаду от длительности деревенских визитов. Кончилось тем, что князь замкнулся во враждебном молчании. Дон Калоджеро понял; пообещал вернуться завтра утром, чтоб сообщить о безусловном согласии Анджелики, и распрощался. Его провели через два салона, обняли на прощание, и он принялся спускаться но лестницам, в то время как князь, словно башня возвышавшийся на верхней площадке, наблюдал, как постепенно все уменьшался этот комок хитрости, скверно сшитой одежды, золота и невежества, который теперь становился почти что членом его семьи.

Со свечой в руке князь отправился в ружейную, чтобы выпустить на свободу Тумео, который, смирившись, курил в темноте свою трубку.

— Мне жаль, дон Чиччьо, но вы меня поймете, я вынужден был это сделать.

— Понимаю, ваше превосходительство, понимаю. По крайней мере все обошлось хорошо?

— Превосходно. Лучше и быть не могло. Тумео невнятно пробормотал свои поздравления, застегнул ошейник Терезины, которая заснула, утомленная охотой, и снял с гвоздя ягдташ.

— Захватите и моих бекасов, нам их все равно не хватит. До свиданья, дон Чиччьо. Приходите пораньше. И простите меня за все.

Сильный удар по плечу послужил знаком примирения и напоминанием о власти; последний преданный слуга дома Салина удалился в свои бедные покои.

Вернувшись в кабинет, князь обнаружил, что падре Пирроне ускользнул, стремясь избежать разговора. Тогда он направился в комнату супруги, чтоб рассказать, как обстоит дело. Шум тяжелых и быстрых шагов уже за десять метров оповещал, о его приходе. Он пересек комнаты девушек: Каролина и Катерина наматывали на клубок шерсть, при его появлении они привстали, улыбаясь; мадемуазель Домбрей поспешно сняла очки и с сокрушенным видом ответила на его приветствие; Кончетта сидела к нему спиной и вышивала подушку; не расслышав шагов отца, она даже не обернулась.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Дон Фабрицио и дон Калоджеро. — Первый визит Анджелики после обручения. — Приезд Танкреди и Каврриаги. — Появление Анджелики. — Любовный циклон. — Затишье после циклона. — В Доннафугату приезжает пьемонтец. — Небольшая прогулка по деревне. — Шевалье и дон Фабрицио. — Отъезд на рассвете.

Ноябрь 1860

Благодаря более частым встречам, вызванным переговорами о браке, у дона Фабрицио стало зарождаться странное восхищение достоинствами Седара. Он постепенно привык к скверно выбритым щекам, к плебейскому акценту, к необычным костюмам, к запаху пота и начал понимать, каким редким умом одарен этот человек. Многие трудности, которые князю казались неодолимыми, дон Калоджеро преодолевал

мгновенно. Лишенный той сотни пут, которые связывают действия многих других людей и обусловлены честностью, чувством приличия и, наконец, просто хорошим воспитанием, он шагал по жизненной чаще с уверенностью слона, который, ломая деревья и разрушая берлоги, идет вперед своей дорогой, не замечая ни царапин, ни стонов пострадавших. Воспитанный и выросший среди веселых долин, овеваемых легким и любезным эфиром разных «пожалуйста», «был бы тебе признателен», «ты мне сделал бы одолжение», «ты был очень любезен», князь теперь, беседуя с доном Калоджеро, выходил на открытую пустошь, где дуют жгучие сухие ветры; в глубине души предпочитая извилистые горные тропы, он не мог, однако, не восхищаться этими порывами сквозного ветра, который извлекал из дубов и кедров Доннафугаты неслыханные доселе арпеджио.

Постепенно и незаметно для самого себя дон Фабрицио стал рассказывать дону Калоджеро о собственных делах, многочисленных, запутанных и ему самому малоизвестных, впрочем, не из-за отсутствия проницательности, а в силу некоего презрительного безразличия к такого рода вещам, считавшимся низменными. Причиной этого равнодушия, в сущности, была беспечность и та давно проверенная легкость, с которой князю удавалось выходить из беды путем продажи еще нескольких сот из принадлежавших ему многих тысяч гектаров земли.

Шаги, которые рекомендовал предпринять дон Калоджеро, выслушав князя и уяснив себе положение, были весьма разумны и приносили немедленный эффект, однако конечный результат его советов, задуманных как меры действенные и жестокие, но осуществляемые благодушным доном Фабрицио с боязливой мягкостью, выразился в том, что с годами за семьей Салина закрепилась репутация недоброжелательности по отношению к зависевшим от нее людям, репутация, на самом деле незаслуженная, но подорвавшая престиж Салина в Доннафугате и Кверчете. Никаких серьезных преград, могущих спасти ускользающее из рук князя достояние, при этом так и не воздвигли.

Несправедливо было бы умолчать о том, что постоянные посещения Седара князя оказали некоторое влияние и на самого Седара. До этого он встречался с аристократами лишь по делам (то есть насчет купли-продажи) или же по случаю весьма редких и направлявшихся ему после долгих раздумий приглашений к празднику — в обоих случаях этот своеобразный общественный класс не проявляет своих лучших сторон. После таких встреч он пришел к убеждению, что знать состоит

исключительно из людей-овечек, существующих на свете лишь для того, чтоб подставлять шерсть под его стригущие ножницы и давать его дочери свое имя, пользующееся необъяснимым престижем. Но уже знакомство с Танкреди во времена Гарибальди свело его с неожиданным образчиком молодого дворянина, столь же черствого, как он сам, умевшего довольно выгодно выменивать собственные улыбки и титулы на красоту и состояние других; притом молодой человек умело облекал свои «седаровские» поступки в самую изящную форму, сохраняя при этом собственную обаятельность — качество, которым сам Седара не обладал и лишь безотчетно испытывал на себе его действие, не различая истоков его происхождения.

Когда мэр Доннафугаты ближе сошелся с князем, то, помимо мягкости и неспособности к самозащите, характерных для привычного ему типа аристократа-овечки, он обнаружил в нем ту же силу обаяния, что и у молодого Фальконери, силу столь же напряженную, но действующую в ином направлении; он нашел у князя известный заряд энергии, направленной к отвлеченным целям, некое стремление к поиску смысла жизни в том, что исходит от него самого, а не в том, что можно урвать от других; он был весьма поражен проявлениями этой отвлеченной энергии, хотя она и представала перед ним, так сказать, в сыром виде и не могла быть выражена словами, которые мы здесь пытались найти для ее определения. Он убедился, что добрая доля привлекательности князя шла от хороших манер, и понял, сколь приятен человек благовоспитанный, ибо благовоспитанность в основе своей есть не что иное, как уход от ряда неприятных проявлений человеческой природы, и является своего рода выгодным бескорыстием (формула, в которой действенность прилагательного заставила его смириться с бесполезностью существительного).

Постепенно дон Калоджеро усваивал, что обед, с гостями не должен обязательно превратиться в ураган чавкающих звуков, и море сальных пятен; что беседа со знакомыми может и не походить на перебранку собак, что уступка женщине — признак силы, а не слабости, как он полагал прежде; что от собеседника, можно добиться большего, если сказать ему: «Я недостаточно ясно изложил свою мысль» — вместо: «Ты ни черта не понимаешь», а также что использование подобных приемов за столом, в разговоре, в обращении с женщинами, собеседниками приносит выгоду тому, кто умеет все это применить к делу.

Было бы слишком смело утверждать, что дон Калоджеро сразу же пустил в ход все, чему научился; с тех пор он стал лишь несколько тщательнее бриться и его меньше пугало количество мыла, употребляемого при стирке; пока дело тем и ограничилось, но именно с этого времени для него и для подобных ему начался тот процесс постепенного рафинирования класса, который через три поколения превращает наивного мужика в беспомощного джентльмена.

Первый визит, нанесенный Анджеликой семейству Салина уже, в качестве невесты, осуществлялся в соответствии с безупречным режиссерским замыслом. Поведение девушки было настолько безукоризненным, что, казалось, оно от первой до последней минуты подсказано Танкреди; однако медлительность средств сообщения в те времена исключали такую возможность, и оставалось лишь предположить, что все это было ей внушено до официальной помолвки: эта гипотеза, несколько рискованная в глазах тех, кто лучше знал о свойственной молодому князю осторожности, все же не была абсурдной.

Анджелика появилась в шесть часов вечера в белом с розовой отделкой платье, мягкие черные волосы красиво оттеняла большая, еще по-летнему надетая соломенная шляпа с искусственными гроздьями винограда и золотистыми колосьями, которые скромно напоминали о виноградниках Джибильдольче и хлебных закромах Сеттесоли.

Отца она оставила внизу в парадном; шурша широкой юбкой, она легко взбежала по многочисленным ступеням лестницы и бросилась в объятия дона Фабрицио; два звонких поцелуя запечатлелись на его устах и были приняты с неподдельной искренностью; быть может, губы князя задержались немного долее положенного, смакуя аромат ее молодых щек, пахнувших гарденией. Анджелика покраснела, отступила на полшага.

— Я так счастлива, так счастлива… — Затем вновь приблизилась и, приподнявшись на носках, шепнула на ухо: — дядюшка! — удачнейший прием, который по силе режиссерского замысла можно, пожалуй, сравнить с появлением детской коляски у Эйзенштейна. Недвусмысленная ясность и вместе с тем доверительный характер обращения привели в восторг простое сердце князя и навсегда привязали его к красивой девочке.

Дон Калоджеро тем временем подымался по лестнице и рассказывал, как удручена его супруга, что сейчас не может быть здесь: вчера она оступилась, растянула левую ногу — это весьма болезненно.

— Ногу у нее, князь, разнесло, как тыкву.

Обрадованный лаской, князь высказал вежливое намерение тотчас же навестить синьору Седара; впрочем, благодаря разоблачениям Тумео он был уверен, что крайне смутившее дона Калоджеро предложение останется без последствий. Чтобы отклонить его, дон Калоджеро к распухшей ноге должен был присовокупить еще головную боль, вынуждавшую бедняжку жену не покидать темной комнаты.

Меж тем князь взял Анджелику под руку. В дрожащем свете ламп, едва позволявшем найти дорогу, они пересекли ряд почти темных гостиных; в глубине анфилады комнат их ждал сверкающий огнями «Леопольдов салон», где собралась вся остальная семья. Это шествие сквозь мрак и пустоту к освещенному очагу интимности своим ритмом напоминало посвящение в масонскую ложу.

Семья столпилась у дверей: перед лицом мужнего гнева княгиня отказалась от своих возражений, которые были не просто отвергнуты, а, можно сказать, сожжены дотла; теперь она многократно облобызала свою будущую красивую племянницу и прижала ее к груди столь сильно, что на коже девушки остался след от знаменитого рубинового ожерелья семейства Салина, которое Мария-Стелла, невзирая на ранний час, решила надеть по случаю торжества.

Шестнадцатилетний Франческо Паоло обрадовался исключительному случаю, который позволил ему поцеловать Анджелику под бессильно ревнующим взглядом отца. Особенно нежно девушку встретила Кончетта, которая от радости даже прослезилась. Другие сестры окружили ее, бурно выражая свой восторг, не омраченный никакими сомнениями.

Падре Пирроне, не чуждый преклонения — самого, впрочем, невинного — перед женской красотой, в которой усматривал неопровержимое доказательство господней доброты, почувствовал, как от тепла этой грации (не с прописной буквы) растаяли все его возражения. Иезуит пробормотал: «Гряди, невеста ливанская». (Ему пришлось сделать усилие, дабы не вызвать в собственной памяти еще более пламенные строфы.)

Мадемуазель Домбрей, как и надлежит гувернантке, плакала под напором чувств и говорила, крепко обняв своими разочарованными руками цветущие плечи девушки: «Angelica, Angelica, pensons a la joie de Tancrede» (Анджелика, Анджелика, подумаем о радости Танкреди).

Лишь Бендико, обычно столь общительный, сегодня забился под столик и глухо рычал, пока не был энергично призван к порядку возмущенным Франческо Паоло, чьи губы еще дрожали от поцелуя.

В двадцать четыре из сорока восьми подсвечников были вставлены зажженные свечи, и каждая из них, белая, но пылающая, могла бы напомнить девственницу, томимую огнем любви; раскрашенные в два цвета муранскими мастерами стеклянные цветы на кривых подвесках восторженно глядели на входившую и слали ей свою изменчивую и хрупкую улыбку.

Зажгли большой камин, скорей в честь праздника, чем для того, чтобы согреть комнату у в которой еще не было холодно; дрожащие отсветы пламени ложились на пол, рассыпая лучистые отблески на потускневшую позолоту мебели; домашний очаг был символом дома, пылавшие головешки говорили о вспышках желаний, раскаленные угли — о сдержанном горении страсти.

Княгиня, в высшей степени обладавшая даром сводить все эмоции к наименьшему общему знаменателю, рассказала о некоторых великолепных случаях из детских лет Танкреди; причем, судя по настойчивости, которую она проявила при этом, можно было и в самом деле подумать, что Анджелика должна считать себя необыкновенно счастливой оттого, что выходит замуж за человека, который в шестилетнем возрасте был столь благоразумен, что разрешал без лишних капризов поставить себе клизмочку, а в двенадцать оказался таким смельчаком, что бесстрашно стащил пригоршню вишен.

Кончетта, услышав об этом примере отважного бандитизма, расхохоталась.

— От этого порока Танкреди так и не сумел избавиться. Помнишь, папа, как он два месяца тому назад утащил персики, которыми ты так дорожил?

Высказавшись, она вдруг напустила на себя столь мрачный вид, что ее можно было принять за возмущенного президента общества борьбы против хищений в плодовых садах.

Вскоре голос дона Фабрицио заставил позабыть об этих мелочах: он заговорил о сегодняшнем Танкреди, живом, подтянутом юноше всегда готовом на какие-то выходки, которые восхищают тех, кому он мил, и доводят до отчаяния других; он рассказал, как однажды в Неаполе Танкреди был представлен некой герцогине Н., которая воспылала к нему

страстью и пожелала видеть его у себя в доме утром, после обеда и вечером, неважно в гостиной или в постели, потому что, как она утверждала, никто лучше Танкреди не умел рассказывать les petit riens (Пустяки).

Хотя дон Фабрицио поторопился уточнить, что Танкреди тогда было всего шестнадцать лет, а герцогиня перешагнула за пятьдесят, глаза Анджелики вспыхнули — она обладала точной информацией о поведении молодых людей в Палермо, а сила воображения помогла ей представить себе неаполитанских герцогинь.

Однако было бы ошибкой на этом основании утверждать, что Анджелика полюбила Танкреди; слишком горда и тщеславна она была, чтоб оказаться способной на то временное забвение собственной личности, без которого нет любви; кроме того, ее полудетский опыт еще не позволял оценить подлинные качества Танкреди, которые все сводились к тончайшим оттенкам; и все же, не любя его, она в то время была в него влюблена, а это вещи разные; голубые глаза, шутливая привязанность, звук его голоса, внезапно становившегося серьезным, — все это даже при одном воспоминании вызывало в ней вполне определенное волнение, она теперь желала лишь одного: очутиться в объятиях этих рук; познав их нежность, она забыла бы о них либо заменила бы другими, как это затем на самом деле и случилось, но сейчас ей очень хотелось, чтобы эти руки ее ласкали. Вот отчего разоблачение возможной любовной связи (которой, впрочем, и не существовало) ущемило ее самым нелепым образом — она испытала ревность задним числом. Однако, это огорчение вскоре развеял хладнокровный анализ выгод чувственного и нечувственного свойства, которые сулил ей брак с Танкреди.

Дон Фабрицио продолжал расхваливать племянника. В своем увлечении он был красноречив, как сам Мирабо.

— Танкреди начал рано и начал хорошо, — сказал дон Фабрицио. — У него большая дорога впереди.

Анджелика склонила голову в знак согласия. На самом деле политическое будущее Танкреди ее не интересовало: она была одной из тех многочисленных девиц, которые полагают, что социальные явления происходят в чуждом им мире, и даже не могла вообразить, что речь Кавура со временем, пройдя через тысячу мельчайших сцеплений всевозможных обстоятельств, сможет повлиять на ее жизнь, внося в нее

перемены. Рассуждала она по-сицилийски: «Пшеница у нас есть — и хватит; какая там еще дорога впереди».

Да, так рассуждала наивная молодость, но с годами ей пришлось решительно отбросить в сторону подобные взгляды и стать одной из самых язвительных тайных советниц парламента и государственного совета.

— А до чего он бывает забавен! Вы еще не знаете этого, Анджелика. Ему известно все, он во всем умеет найти что-то неожиданное. Когда ты с ним и когда он в ударе, мир кажется веселей, а порой и серьезней обычного.

Анджелика знала, что Танкреди умеет быть забавным; после двадцать пятого сентября она не только могла надеяться, но имела все основания подозревать, что он способен открывать новые миры — она узнала об этом в день знаменитого, официально установленного, но отнюдь не единственного поцелуя за предательской изгородью из лавра. Поцелуй этот действительно был совершенно непохож на другой, единственный, который она доселе познала в объятиях сына садовника в Подджо а Кайано более года тому назад; поцелуй Танкреди был гораздо тоньше и сочней. И все же Анджелике и дела не было до острословия и даже до ума своего жениха, во всяком случае, для нее они значили гораздо меньше, чем для дорогого дона Фабрицио, такого по-настоящему милого, но чересчур «интеллигентного» дядюшки. В браке с Танкреди она видела возможность занять прекрасное положение среди сицилийской знати, жизнь которой казалась ей полной чудес, каких в действительности и не существовало. Кроме этого, она ждала от Танкреди лишь страстных объятий. Тем лучше, если он вдобавок еще умен, но ей самой это глубоко безразлично, а развлечения всегда можно придумать. Впрочем, все это были мысли о будущем. Сейчас же, будь он умен или глуп, все равно ей хотелось, чтоб он был здесь и хотя бы пощекотал ей затылок под косами, как уже сделал однажды.

— Боже, Боже, как я хотела бы, чтоб он сейчас был здесь с нами!

Это восклицание растрогало всех своей очевидной искренностью, так как никто не знал истинных мотивов, его вызвавших. Так счастливо закончилась первая встреча. Немного погодя Анджелика и отец ее распрощались. Предшествуемые мальчиком из конюшни, который нес зажженный фонарь — зыбкое золото пламени окрасило в красный цвет листья, опавшие с платанов, — отец и дочь возвращались в тот самый

дом, куда Пеппе Дерьму преградили вход заряды охотничьего ружья, разбившие его почки.

Вновь обретя спокойствие, дон Фабрицио ввел в обычай вечерние чтения. Осенью, когда вечера стали слишком темными для прогулок, вся семья после молитвы собиралась вокруг камина в ожидании обеда, и князь стоя читал своим домашним главы из какого-нибудь современного романа; в такие минуты он каждой своей порой излучал полное достоинства благодушие.

То были годы, когда благодаря романам создавались те литературные мифы, которые и сегодня господствуют над европейскими умами; однако Сицилия, отчасти из-за своей традиционной неспособности к восприятию нового, отчасти из-за всеобщего незнания каких-либо иностранных языков, а также, нужно сказать, из-за гнетущей бурбонской цензуры, орудовавшей на таможнях, не ведала о существовании Диккенса, Элиот, Жорж Занд и Флобера; не знали даже Дюма. Правда, два тома Бальзака благодаря некоторым ухищрениям попали в руки дона Фабрицио. Он, прочтя их, остался разочарован и одолжил Бальзака своему приятелю, которого недолюбливал, сказав при этом, что они, несомненно, являются плодом мощного, но причудливого и «одержимого» ума (теперь вместо «одержимого» сказали бы «маниакального») — как видите, это было слишком торопливое, но не лишенное известной остроты суждение. Отбор книг для этих вечерних чтений был далеко не на высоте, что вызывалось как уважением к целомудренным чувствам дочерей, так и религиозной щепетильностью княгини, не говоря уже о том, что чувство собственного достоинства ни при каких обстоятельствах не позволило бы князю заставить членов своей семьи выслушивать какие-нибудь «пакости».

Это было примерно десятого ноября. Подходило к концу пребывание в Доннафугате. Шел проливной дождь; свирепые порывы сырого мистраля, подобно Злобным пощечинам, обрушивали на окна потоки влаги; вдали раздавался грохот грома, то и дело капли дождя, пробив себе дорогу через примитивные сицилийские дымоходы, прорывались в камин, с мгновенье шипели и оставляли черные пятнышки на пылающих поленьях оливкового дерева.

Читалась «Анджола Мария», и в этот вечер как раз подошли к последним страницам: описание полных отчаяния странствий молодой девушки по

замерзшей зимней Ломбардии заставляло цепенеть сицилийские сердца синьорин, сидевших в теплых креслах.

Внезапно в соседней комнате послышался шум, и в гостиную, запыхавшись, вбежал лакей Мими.

— Ваши превосходительства! — кричал он, позабыв о своих вышколенных манерах, — Ваши превосходительства, прибыл молодой синьор Танкреди! Он во дворе выгружает багаж из повозки. Святая Мадонна, в такую непогоду!

И лакей Мими убежал.

Неожиданное известие застало Кончетту в момент, который был далек от реальной действительности, и она воскликнула: «Милый?» Но звук собственного голоса вернул ее к безутешному настоящему, и, как легко можно догадаться, столь резкий переход от тайных, но пылких страстей прошлого к нынешней холодной яви причинил ей немалую боль; к счастью, в общем шуме ее возглас не был расслышан.

Все кинулись к лестнице; предшествуемые широко ступавшим доном Фабрицио, они быстро пересеяли темные салоны и спустились вниз; большая дверь, ведущая к наружной лестнице и во двор, была распахнута; ветер врывался в замок, неся с собой сырость в запахи земли, заставляя вздрагивать полотна портретов; на фоне озаренного молниями неба корчились деревья сада, а их листва шуршала, словно разодранный шелк.

В ту минуту, когда дон Фабрицио собирался выйти за дверь, на последней ступеньке появилась чья-то бесформенная и грузная фигура; то был Танкреди, закутанный в огромный голубой плащ пьемонтской кавалерии, который настолько пропитался водой, что, вероятно, весил не меньше ста кило и казался совершенно черным.

«Осторожно, дядюшка, не подходи ко мне, я весь как губка!» Свет лестничного фонаря осветил его лицо. Он вошел, расстегнул цепочку, которой плащ закреплялся у шеи, и сбросил с себя это одеяние, упавшее на пол с липким шумом.

От Танкреди, три дня не снимавшего сапог, несло потом, но для дона Фабрицио, который обнимал его в эту минуту, он был дороже собственных детей, для Марии-Стеллы — милым и предательски оклеветанным племянником, для падре Пирроне — заблудшей овечкой, которая неизменно возвращается в лоно церкви, а для Кончетты — дорогим привидением, напоминавшим ей о погибшей любви. Даже бедная

мадемуазель Домбрей поцеловала его своими непривычными к ласкам губами, воскликнув при этом: «Tancrede, Tancrede, pensons a la joie d`Angelica» (Танкреди, Танкреди, подумаем о радости Анджелики), — так мало струн в ее собственной душе, что она, бедняжка, постоянно вынуждена была воображать радости других.

И Бендико вновь обрел своего дорогого товарища по забавам, того, кто, как никто другой, умел, сложив руку трубой, дуть ему в морду, но он выражал свой восторг по-собачьи, бешено прыгая по залу и нисколько не заботясь о предмете своего обожания.

Настала поистине трогательная минута: все собрались вокруг молодого человека, который был тем дороже, что не принадлежал к их семье в полном смысле слова, и тем милее, что ему теперь предстояло обрести любовь вместе с сознанием обеспеченности.

Да, это было трогательное, но и несколько затянувшееся мгновение. Когда улеглись первые порывы радости, дон Фабрицио обнаружил у порога еще две фигуры; с них также стекали капли дождя, и они также улыбались. Танкреди тоже заметил их и расхохотался.

— Простите меня, я потерял голову от волнения. Тетя, — сказал он, обращаясь к княгине, — я позволил себе привезти своего дорогого друга графа Карло Кавриаги; впрочем, вы его знаете, он столько раз приходил на виллу, когда служил у генерала. А второй — это улан Морони, мой денщик.

До тупости честное лицо солдата сияло, он стоял по стойке «смирно», в то время как вода стекала на пол с грубого сукна его шинели. Но графчик не стоял «смирно»: сняв грязную и утратившую, всякую форму шапку, он целовал руку княгини, улыбался и ослеплял девушек своими золотистыми усиками и неистребимой картавостью своего «р».

— Подумайте только, а мне сказали, что здесь у вас никогда не бывает дождей! Господи, вот уж два дня, как мы словно по морю плывем!

Затем он стал серьезен.

— Фальконери, где же, наконец, синьорина Анджелика? Ты затащил меня сюда из Неаполя, чтоб показать ее. Вижу здесь многих красавиц, но ее-то нет. — Он обернулся к дону Фабрицио. — Знаете, князь, его послушать, так это вторая царица Савская! Отправимся сейчас же с поклоном к formosissima et nigerrima (Красивейшей и самой чернокудрой). Пошевеливайся, олух!

Он выражался именно так, перенося жаргон офицерских столовых в хмурый салон с двойным рядом благолепно выписанных предков в броне, и это всех развлекало. Но дон Фабрицио и Танкреди знали куда больше его: они знали дона Калоджеро, знали, что за скотина его красивая жена, знали о невероятной запущенности дома этого богача — словом, знали все то, о чем и не ведает наивная Ломбардия.

Дон Фабрицио вмешался:

— Послушайте, граф, вы думали, что в Сицилии никогда не бывает дождей, теперь вы можете видеть, что у нас здесь настоящий потоп. Я не хотел бы, чтоб вы думали, будто в Сицилии не бывает воспаления легких, и затем оказались в постели с сорокаградусным жаром. Мими, — обратился он к лакею, — скажи, чтоб зажгли камины в комнате синьора Танкреди и в зеленой комнате для гостей. Пусть приготовят комнатку рядом для солдата. А вы, граф, отправляйтесь хорошенько просушиться и переоденьтесь. Я велю прислать вам пунш и бисквиты. Обед в восемь — через два часа.

Кавриаги слишком много месяцев провел на военной службе, чтоб не подчиниться столь властному голосу; он распрощался и тихо-тихо последовал за лакеем. Морони потащил за собой армейские сундуки и кривые сабли в футляре из зеленой фланели.

Тем временем Танкреди писал: ***«Дорогая моя Анджелика, я здесь, я здесь ради тебя. Влюблен, как кошка, промок, как жаба, грязен, как заблудший пес, и голоден, как волк. Поспешу к тебе, как только приведу себя в порядок и сочту себя достойным предстать пред очами самой прекрасной из прекрасных, — это будет через два часа. Мое почтение твоим дорогим родителям. Тебе… покуда ничего»*** .

Текст был представлен на суд князя; будучи всегда в восторге от эпистолярного стиля Танкреди, тот прочел, рассмеялся и полностью одобрил. У донны Бастианы вдосталь времени, чтобы придумать себе новую болезнь; записка тотчас же была отослана.

Порыв всеобщей радости был столь силен, что и четверти часа хватило, чтоб оба молодых человека просушились, почистились, сменили мундиры и снова оказались в «Леопольдовом салоне» у камина; они пили чай, коньяк и разрешали любоваться собой.

В те времена трудно было найти что-либо менее соприкасающееся с военными, нежели семьи сицилийской аристократии; в салонах Палермо

никогда не видели бурбонских офицеров, а те несколько гарибальдийцев, которые туда проникли, скорей походили на пугала, чем на настоящих военных. По этой причине оба молодых офицера в действительности оказались первыми военными, которых увидели вблизи девушки из семейства Салина; на обоих были двубортные сюртуки — у Танкреди с серебряными пуговицами улана, у Карло с золотыми, которые полагались берсальерам; черные стоячие воротники из бархата имели бордюр, оранжевый у первого, кремовый у второго; к камину тянулись их ноги в голубых и черных панталонах. Вышитые на обшлагах серебром и золотом «цветы» ежеминутно приходили в движение, без конца то склонялись, то подымались; все это привело в восхищение девочек, привыкших к суровым рединготам и похоронным фракам. Поучительный роман валялся где-то за креслом.

Дон Фабрицио не сразу разобрался во всем этом великолепии: он помнил, что оба они походили на вареных раков в своей красной и неопрятной форме.

— Так что же, вы, гарибальдийцы, уже не носите красных рубашек?

Оба обернулись, словно их ужалила змея.

— Что ты, дядюшка, заладил — гарибальдийцы да гарибальдийцы! Побыли ими, и хватит. Мы с Кавриаги, слава Богу, офицеры регулярной армии его величества короля Сардинии еще несколько месяцев, а вскоре и короля всей Италии. Когда войско Гарибальди распустили, можно было выбирать: идти по домам или оставаться в армии короля. Он и я, да и многие другие вступили в настоящую армию. С теми оставаться нельзя было, не так ли, Кавриагн?

— Ну и сброд, я вам скажу! Годны лишь для вылазок и перестрелки. Теперь мы среди порядочных людей, словом, мы теперь по-настоящему офицеры. — И усики его приподнялись в гримасе почти детского отвращения.

— Знаешь, дядя, нас понизили в чинах, так мало верили в серьезность наших военных способностей; видишь, из капитана я снова стал лейтенантом, — и он показал две звездочки на своих погонах, — а Кавриаги из лейтенанта понизили в младшие лейтенанты. Но мы рады, как будто нас произвели в новый чин. В этих мундирах нас стали уважать куда больше.

Готов пари держать, — перебил его Кавриаги, — люди теперь не боятся, что мы станем воровать кур. Надо было посмотреть, что творилось на почтовых станциях, когда мы меняли лошадей! Достаточно крикнуть; «Срочный приказ по службе его королевского величества!», и лошади являлись как по волшебству, а мы вместо приказа показывали запечатанные в конверты счета неаполитанской гостиницы.

Исчерпав разговор о военных переменах, перешли к темам менее определенным. Кончетта и Кавриаги уселись вместе, чуть поодаль от остальных, и графчик показывал ей подарок — привезенный из Неаполя том «Песен» Алеардо Алеарди в великолепном переплете. На темно-голубой коже оттиск княжеской короны, а под ним инициалы «К. К. С.» Еще ниже большие и слегка напоминающие готический шрифт буквы гласили: «Всегда глуха».

Кончетта, развеселившись, засмеялась.

— Но почему глуха, граф, у К. К. С. отличный слух.

Лицо графчика залила краска мальчишеской страсти.

— Да, глуха, глуха. Синьорина, вы глухи к моим вздохам, глухи к моим стенам, и вы еще вдобавок слепы, да, слепы, потому что не замечаете мольбы в моих глазах. Знаете ли вы, как я страдал тогда в Палермо, когда вы уезжали: ни привета, ни малейшего знака, пока коляска исчезала вдали! И вы еще хотите, чтоб я не называл вас глухой? Надо было написать: «Всегда жестока».

Сдержанность девушки охладила его литературный пыл.

— Вы устали, после долгого пути, ваши нервы не в порядке, успокойтесь; почитайте мне лучше какие-нибудь красивые стихи.

В то время как берсальер читал нежные строки стихов своим печальным голосом, делая полные горечи паузы, Танкреди, стоя у камина, вынимал из кармана футлярчик из небесно-голубого атласа.

— Вот кольцо, дядюшка, кольцо, которое я дарю Анджелике, вернее, которое даришь ей ты моими руками.

Он нажал пружинку и показал темный сапфир в форме сплющенного восьмигранника, густо-густо усыпанный по краям бриллиантами чистейшей воды. То была несколько мрачноватая, но в высшей степени созвучная похоронным вкусам времени драгоценность, и она, несомненно, могла стоить те двести унций, которые были присланы доном Фабрицио.

На самом деле кольцо стоило значительно меньше: в эти месяцы грабежей и бегства в Неаполе можно было по случаю приобрести превосходные драгоценности; на разницу в цене была приобретена булавка, оставленная на память балерине Шварцвальд.

Кончетту и Кавриаги также позвали полюбоваться кольцом, но они не двинулись с места, потому что графчик его уже видел, а Кончетта решила отложить это удовольствие на более позднее время. Кольцо передавали из рук в руки, им восхищались, его хвалили, превозносили тонкий вкус Танкреди. Дон Фабрицио спросил:

— А как же быть с меркой? Придется послать кольцо в Агридженто, чтоб его подогнали.

В глазах Танкреди так и бегали лукавые искорки.

— Нет нужды, дядюшка, мерка точна — я снял ее заранее.

Дон Фабрицио промолчал: признал мастера.

Футлярчик прошел по кругу собравшихся у камина и вернулся в руки Танкреди в ту минуту, когда за дверью раздалось робкое:

— Можно?

То была Анджелика.

От спешки и волнения она, чтоб укрыться от проливного дождя, не нашла ничего лучше, как надеть на себя просторный крестьянский плащ из грубого сукна. За жесткими складками темно-синей ткани ее тело казалось еще стройней, под мокрым капюшоном светились зеленые глаза; тревожные и немного растерянные, они говорили о страсти.

Ее появление и сам контраст между ее красотой и грубостью одежды, были для Танкреди, как удар хлыстом; он вскочил, молча подбежал к ней и стал целовать в губы. Футляр, который он держал в руке, щекотал ее склоненный затылок. Затем он нажал пружину, вынул кольцо, надел ей на безымянный палец; футляр упал на пол.

— Держи, моя красавица, это тебе, от твоего Танкреди. — Ирония вновь пробудилась. — Поблагодари за него дядюшку.

И снова обнял ее; оба дрожали от захватившего их чувственного порыва; салон и все, кто в нем собрался, теперь казались им чем-то очень далеким. Танкреди и в самом деле почудилось, что эти поцелуи вновь возвращают ему владение Сицилией, прекрасной и предательской землей, которой

Фальконери владели веками; после тщетного мятежа она теперь снова покорна ему, как всегда была покорна его предкам, и, как всегда, несет плотскую радость и золотые урожаи.

Из-за приезда желанных гостей было отложено возвращение в Палермо; наступили две недели, полные очарования. Ураган, которым сопровождался приезд обоих офицеров, был, пожалуй, последним, вслед за ним снова засверкало всеми своими красками бабье лето, которое в Сицилии становится подлинным сезоном сладострастия: сияющее, голубое чудо, кроткий оазис посреди гневной смены времен года, оно своей мягкостью убаюкивает и будоражит чувства, своим теплом зовет к обнаженности.

Неуместно само упоминание об эротической обнаженности в замке Доннафугаты, однако и там скопилось целое море восторженной чувственности, дававшей знать о себе тем острей, чем сильней она сдерживалась.

За восемьдесят лет до этого замок Салина был прибежищем тех мрачных наслаждений, которым соизволил предаваться агонизирующий восемнадцатый вех, но суровое правление Каролины, неорелигиозность Реставрации и всего лишь добродушно-бодрый нрав нынешнего дона Фабрицио привели к забвению всех причуд прошлого; осыпанные пудрой дьяволята были обращены в бегство; они еще, конечно, жили, но скрытно и зимовали где-то под толстым слоем пыли на потолках этого непомерно большого замка.

Появление прекрасной Анджелики, если помните, едва не оживило эти призраки, но лишь приезд двух влюбленных молодых людей по-настоящему поднял на ноги поверженные инстинкты; теперь они выползали из каждой щели этого дома, подобно муравьям, разбуженным солнцем; уже не ядовитым, но еще чрезмерно живучим. Сама архитектура замка, все его убранство в стиле рококо, все неожиданные изломы линий говорили о распростертом теле и высокой груди; даже двери в замке теперь открывались с шорохом, напоминавшим шелест альковной завесы.

Кавриаги влюбился в Кончетту, но в отличие от Танкреди, который, как и он, выглядел еще совсем, мальчишкой, графчик и по натуре своей оставался ребенком: его любовь находила себе выход в легких ритмах

стихов Прати и Алеарди, в мечтах о похищении любимой при луне, о последствиях которого он даже не осмеливался думать; впрочем, равнодушие и холодность Кончетты убивали его чувства в самом зародыше. Как знать, быть может, в уединении своей зеленой комнаты он предавался и более конкретным мечтам; одно лишь несомненно — в сценическом оформлении этого осеннего любовного спектакля в Доннафугате ему принадлежали лишь наметки облаков и ускользающих горизонтов, а не архитектурные массивы.

Однако обе девочки, Каролина и Катерина, довольно хорошо исполняли свою партию в той симфонии желаний, звуки которой в этом ноябре раздавались в каждом уголке замка и смешивались с журчанием фонтанов, с доносившимся из конюшни топотом случавшихся лошадей и непрерывным шорохом от древесных червей, долбивших свои брачные гнезда в старой мебели замка.

У совсем еще молоденьких миловидных девочек, правда, не было конкретных предметов страсти, но их увлек за собой поток желаний, шедших от других; нередко поцелуй, в котором Кончетта отказывала Кавриаги, и рукопожатие Анджелики, которое не насытило Танкреди, отражались и на девочках, вызывая первое цветенье целомудренного тела; они робко вздыхали и мечтали о косах, влажных от поцелуев. Даже несчастная мадемуазель Домбрей, которой в силу обстоятельств приходилось играть роль громоотвода, была вовлечена в этот мутный и веселый водоворот, подобно психиатру, который, поддавшись безумию своих больных, заболевает сам.

Когда после целого дня слежки и расстановки моральных западней она укладывалась на свое одинокое ложе и ласкала рукой свои увядшие груди, ей приходило в голову Бог знает что и она с нескромной мольбой взывала к Танкреди, Карло, Фабрицио…

Движущим центром всей этой чувственной бури, конечно, были Танкреди с Анджеликой. Твердо обусловленная, хотя еще и не очень близкая свадьба заранее бросала успокоительную тень на пылающую почву их взаимного влечения.

Сословные различия заставляли дона Калоджеро считать долгие встречи наедине в порядке вещей у аристократов, а княгиня Мария-Стелла оставляла без внимания столь частые посещения Анджелики и некоторую вольность ее поведения, полагая, что так и должно быть у людей ранга Седара; своим дочерям она бы этого, конечно, не позволила.

Визиты Анджелики в замок становились все более частыми, и в конце концов она стала проводить в нем все свое время. Иногда для виду она появлялась то вместе с отцом, который сейчас же уходил в контору (где вскрывал чьи-либо дурные замыслы или же сам плел интриги), то с горничной, которая тотчас же удалялась в какой-либо закоулок, чтобы пить кофе и своим дурным глазом нагонять тоску на несчастных слуг.

Танкреди хотелось, чтоб Анджелика знала весь замок во всей его запутанной сложности, знала покои для гостей, приемные залы, кухни, капеллы, театры, картинные галереи, пахнувшие кожей каретные и конюшни, душные теплицы, переходы, лестнички, балкончики и портики; особенно ему хотелось показать ей заброшенные, нежилые, покинутые много десятилетий тому назад апартаменты, которые теперь походили на сложный и таинственный лабиринт.

Танкреди не отдавал себе отчета (а быть может, превосходно отдавал) в том, что увлекал девочку к скрытому центру чувственного циклона; а Анджелика в то время желала лишь того, что желал Танкреди. Не было конца этим набегам на почти беспредельный замок; казалось, они каждый раз отправляются в поход в неведомые земли; да они и были неведомы, потому что во многих из этих комнат и уголках замка ни разу не побывала нога даже дона Фабрицио, что, впрочем, служило поводом к немалому его удовлетворению: он любил повторять, что замок, в котором знаешь каждую комнату, недостоин того, чтобы в нем жить.

Наши влюбленные отправлялись к Цитере на корабле, где были мрачные и залитые солнцем покои, роскошные и жалкие помещения, пустые или забитые остатками разношерстной мебели салоны. Они пускались в плавание, сопровождаемые Кавриаги или мадмуазель Домбрей, иногда даже обоими (падре Пирроне с мудростью, свойственной его ордену, всегда отвергал такие приглашения), таким образом, внешние приличия были спасены.

Но в замке Доннафугаты нетрудно было сбить с пути того, кто пожелал бы за вами следить: достаточно войти в коридор (а коридоры здесь длинные, узкие, извилистые, с окнами в решетках; каждого, кто по ним проходил, охватывало чувство тревоги), затем выйти на опоясывающий замок балкон, подняться по коварной лестничке — и молодые люди уже были далеко; недоступные для чужих взоров, отрезанные от мира, они чувствовали себя, как на необитаемом острове…

На них глядел лишь чей-либо портрет, с которого от времени стерлась пастель, если только неопытность художника не сделала его слепым от рождения, да пастушка с облупившегося потолка молчаливо выражала им свое одобрение. Впрочем, Кавриаги быстро уставал; стоило ему по пути встретить знакомую комнату либо лестницу, ведущую в сад, как он тотчас же удирал, стремясь не столько угодить другу, сколько поскорей вернуться назад и вздыхать, любуясь ледяными руками Кончетты.

Гувернантка держалась дольше его, но в конце концов сдавала и она; некоторое время еще раздавались ее замиравшие вдали безответные призывы: «Tancrede, Angelica, ou etes vous?» (Танкреди, Анджелика, где вы?). Потом все замыкалось в молчании, нарушаемом лишь стремительным бегом мышей над потолками или шелестом какого-нибудь письма, сто лет тому назад позабытого в этой комнате, где ветер теперь заставлял его метаться по полу: все лишь предлог для столь желанного испуга, повод к тому, чтоб испытать успокаивающее прикосновение тела Танкреди. Эрос, изворотливый и упорный, не покидал их; игра, в которую он вовлекал обрученных, полна была коварства и азарта. Оба они были еще столь близки к детству, что находили удовольствие в самой игре; им нравилось мчаться наперегонки, прятаться, снова находить друг друга; но стоило им вновь сойтись, и обостренная чувственность брала верх; тогда пальцы их переплетались в чувственном, но нерешительном порыве, и нежные прикосновения кончиков пальцев Танкреди к бледным жилкам на ладони девушки переворачивали все их существо, звали к более жгучим ласкам.

Однажды она спряталась за огромной картиной, поставленной на пол, и на какое-то мгновение «Артуро Корбера при штурме Антиохии» прикрыл собой исполненную тревожной надежды девушку; вскоре Танкреди обнаружил ее, увидел сквозь паутину ее улыбку и руки, почерневшие от пыли, обнял ее и прижал к себе; кажется, целая вечность прошла, прежде чем он услышал:

— Нет, Танкреди, нет.

Но этот отказ был скорее призывом, ведь он так пристально глядел в глубокие зеленые очи девушки своими сине-голубыми глазами.

В другой раз сияющим холодным утром, когда она дрожала в своем летнем платье, он, желая согреть девушку, прижал ее к себе на диване, покрытом рваной тканью; от ее дыхания шевелились волосы у него на лбу,

и это были полные восторга и муки минуты, когда желание становилось болью, а сдерживать его было радостно.

В этих заброшенных апартаментах у комнат не было ни своего лица, ни имени; подобно первооткрывателям Нового света, они сами нарекали их именами, которые являлись плодом взаимных усилий. О большой спальне, где в алькове сохранился похожий на привидение остов разукрашенной кровати под балдахином из скелетов страусовых перьев, они вспоминали, называя ее «комнатой испытаний»; лестничку со ступенями из ветхих и дырявых досок Танкреди назвал «лестницей счастливого спуска». Не раз случалось, что они и в самом деле не знали, где находятся: от бесконечного кружения, частых возвратов на одно и то же место, от бега взапуски и долгих пауз, наполненных шепотом и ощущением близости, они теряли ориентировку; тогда им приходилось высовываться из окон с выбитыми стеклами, чтобы по виду дворика или перспективе сада определить, в каком крыле замка они находятся.

Но иной раз не помогало и это; иногда окна выходили не на один из больших дворов, а на какой-нибудь внутренний закоулок, никогда прежде не виденный и безыменный; воинственными приметами такого места были кошачий помет либо кучка макарон в томатном соусе, то ли выброшенных, то ли выблеванных кем-то, да еще глаза ушедшей на покой горничной в окне напротив.

Как-то в полдень они обнаружили в шкафу четыре «музыкальных ящика», из тех, которыми так увлекалась чувствительная наивность восемнадцатого века. Три из них, покрытые пылью и паутиной, не издавали ни звука, но последний, в футляре из темного дерева, сохранился лучше других и его медный, исколотый иголками цилиндр заработал, а приподымавшиеся кверху стальные язычки вдруг исполнили легкую, изящную мелодию: то был знаменитый «Венецианский карнавал»; они целовались в ритмичном согласии с этими звуками разочарованного веселья, а когда разжались объятия, они с удивлением заметили, что музыка уже давно прекратилась; поцелуи лишь шли по следу, оставленному этим музыкальным привидением.

В другой раз их ждала неожиданность совсем иного рода. В одной из комнат старых покоев для гостей они обнаружили за шкафом потайную дверь; столетней давности запор быстро поддался их пальцам, которые не без приятности касались друг друга при совершении взлома; за нею показалась крутая узкая лестница с мягкими поворотами и ступенями из

розового мрамора, а вверху еще одна дверь с толстой ободранной обивкой, она была открыта; дверь вела в маленькую квартиру, странную и порочную — шесть маленьких комнат расположились вокруг небольшой гостиной, пол в комнатах и гостиной был из белейшего мрамора с небольшим уклоном в сторону бокового желобка, на низких потолках причудливая цветная роспись по штукатурке, к счастью отсыревшей настолько, что ничего нельзя было разобрать; на стенах — потускневшие зеркала, подвешенные слишком низко, причем на одном из них трещина на самой середине; вокруг Зеркал искривленные подсвечники восемнадцатого века. Окна выходят на уединенный дворик, похожий на дно глухого и слепого колодца, откуда падает сумеречный свет.

В каждой из этих комнат и в гостиной слишком широкие диваны со следами разодранной шелковой обивки, торчащими гвоздями и спинками в пятнах, камины с тонкой и сложной мраморной резьбой — изображения сведенных судорогой нагих тел, изуродованные ударами яростного молотка.

От сырости стены сверху донизу покрылись пятнами, на высоте человеческого роста эти пятна принимают странные очертания, кажутся необычно мрачными и густыми.

Танкреди, встревоженный всем этим, не хотел, чтоб Анджелика касалась своими руками шкафа, вделанного в стену гостиной; он открыл его сам. Огромный шкаф был дуст, в нем обнаружили лишь сверток из грязной ткани, запрятанный в углу. В нем оказался пучок хлыстов и плеток из бычьих жил, некоторые с серебряной ручкой, другие до середины обтянуты изящной и очень старой шелковой материей, белой в голубую полоску с тремя рядами черненьких пятен; кроме того, в шкафу обнаружились какие-то металлические орудия непонятного назначения.

Танкреди стало страшно, здесь ему стало страшно и самого себя.

— Пойдем, дорогая, право же тут нет ничего интересного.

Они плотно прикрыли дверь, молча спустились по лестнице, поставили на место шкаф, и весь этот день поцелуи Танкреди были почти бесплотными, словно он целовал ее во сне иди ради искупления греха.

По правде говоря, наряду с леопардом на щите хлыст был одним из наиболее часто встречавшихся в Доннафугате предметов. На следующий день после открытия загадочных комнатушек влюбленные наткнулись еще на один хлыст. Впрочем, это произошло не в безвестных покоях, а в

весьма почитаемых апартаментах, названных залом Святого герцога, здесь в середине семнадцатого века один из Салина устроил себе нечто вроде домашнего монастыря, где каялся в грехах и намечал маршрут, который должен был привести его на небо. То были маленькие комнаты с низкими потолками, простым каменным полом и стенами, старательно выбеленными светлой известкой, как в домах у самых обездоленных крестьян. Крайняя из них выходила на балкон, откуда можно было разглядеть желтые просторы громоздившихся друг на друга и погруженных в печальный свет поместий князей Салина. На одной из стен висело огромное, больше натуральной величины распятие; глава пригвожденного Бога достигала потолка, окровавленные ноги касались пола, рана на ребрах походила своими очертаниями, на рот, которому — жестокость помешала произнести последние слова спасения.

Рядом с божественным телом с гвоздя свисала плеть с короткой ручкой, от которой отделялись шесть полос уже затвердевшей кожи, кончавшихся шестью свинцовыми шариками величиной с орех. То было орудие самобичевания святого герцога.

В этой комнате Джузеппе Корбера, герцог Салина, сам бичевал себя перед лицом собственного Бога и собственных поместий, и ему должно было казаться, что капли его крови дождем падают на его земли и несут искупление: в своей благочестивой экзальтации он в этом, должно быть, видел единственный путь покаянного крещения, превращавшего эти земли в его подлинную собственность, в кровь от крови, в плоть от плоти его. Но земля ускользала из рук, и многие поместья, которые можно было отсюда разглядеть, уже принадлежали другим, в том числе и дону Калоджеро, а значит, и Анджелике, значит, и будущему сыну Танкреди.

Очевидность искупления, в котором платой служит красота, подобно тому как платой герцога служила кровь, вызвала у Танкреди чувство головокружения. Анджелика, стоя на коленях, целовала израненные ноги Христа.

— Видишь — ты, как эта плеть, ты служишь тем же целям. — И показал ей плеть, но она ничего не понимала и улыбалась, подняв голову, прекрасную и пустую; тогда он нагнулся и стал целовать стоявшую на коленях девушку с такой страстью и силой, что поранил ей губу и задел нёбо. Анджелика застонала.

Так оба они проводили эти дни, скитаясь и грезя наяву; ад раскрывал перед ними свои бездны, о которых они забывали благодаря любви, и на

пути им встречался рай, потерянный людьми, который та же любовь оскверняла.

Опасность прекратить игру, поставив все на карту, казалась обоим все более острой и неизбежной; под конец они оставили свои поиски и сосредоточенно шли в какую-нибудь из дальних комнат, откуда ни звука ни до кого не могло донестись; да слов и не было: только глухая мольба и вздохи. Они сидели там, невинно прижавшись друг к другу и глубоко себя жалея.

Самыми опасными стали для них комнаты старой части замка, ранее предназначавшиеся для гостей; то были удаленные, лучше других сохранившиеся покои, в которых стояли прекрасные кровати со свернутыми матрасами: достаточно было взмаха руки, чтоб развернуть их…

Однажды не мозг Танкреди, не имевший к тому ни малейшего касательства, а вся его кровь взбунтовалась, решив разом со всем этим покончить: в то утро Анджелика была дьявольски хороша; вдобавок она сказала ему:

— Хочешь, я стану твоей послушницей, — со всей недвусмысленностью призыва напомнив о первой встрече их чувств; и вот уже женщина без белил и румян предлагала себя, вот уже самец готов был одержать верх над мужчиной, но трезвон церковного колокола внезапно обрушился на их распростертые тела, и дрожь его звуков заставила отступить чувственную дрожь, слившиеся в поцелуе губы разомкнулись, чтоб расплыться в улыбке. Они овладели собой; а назавтра Танкреди должен быть уезжать.

То были лучшие дни в жизни Танкреди и Анджелики, в которой суете и распутству суждено было пестреть на неизбежном фоне страданий. Но в ту пору они еще не знали об этом и стремились к будущему, которое представляли себе в конкретных формах; на деле же все затем оказалось одним лишь дымом и ветром. Состарившись и став бесполезно мудрыми, мыслями своими они с настойчивым сожалением возвращались к этим дням неугасимого и непрестанно побеждаемого желания, к этим дням манивших и отвергнутых постелей, дням чувственного влечения, которое именно оттого, что находилось под запретом, достигло своего высшего выражения в отказе, то есть в подлинной любви. То были дни подготовки к их браку, который впоследствии оказался неудачным и в чувственном отношении: но эта подготовка была значительна сама по себе, она была цельной, прекрасной и краткой и походила на мотив, которому суждено

пережить давно позабытую оперу, из которой он взят; в таких мотивах под игриво—целомудренной завесой обнаруживаешь все, что должно было развиться в самой опере, но так и не развилось из—за неумения автора, обрекшего на провал свое произведение.

Добродушной иронией встречали Анджелику и Танкреди, когда они возвращались в мир живых существ оттуда, где царили угасшие пороки, позабытые добродетели и вечное желание.

— Дети, вы с ума сошли, где вы набрали столько пыли. Взгляни-ка на себя, Танкреди, на кого ты похож? — смеялся дон Фабрицио, и племянник шел приводить себя в порядок.

Кавриаги, усевшись верхом на стуле, сосредоточенно курил виргинскую сигару, глядя на Танкреди, который умывал лицо и шею, недовольно пофыркивая оттого, что вода становилась черной как уголь.

— Я ничего не говорю, Фальконери: до сих пор я не видел девушки красивей синьорины Анджелики, но разве тебя это оправдывает: Боже мой, нужно немного обуздать себя; сегодня вы провели с глазу на глаз три часа; раз уж вы так влюблены, то венчайтесь поскорей и не смешите никого. Ты бы видел, какую рожу скорчил сегодня ее отец, когда вышел из конторы и убедился, что вы еще плаваете по океану комнат! Тормоза нужны, дорогой друг, тормоза; а у вас, сицилийцев, их так мало!

Он витийствовал, радуясь возможности навязать старшему товарищу, кузену «глухой» Кончетты, плоды собственной мудрости. Танкреди вытирал волосы; он был вне себя от ярости: его обвинили в нехватке тормозов, тогда как он мог бы остановить поезд на ходу!

Впрочем, бравый берсальер не был столь уж не прав — о приличиях также следовало думать; и все же он стал таким моралистом из зависти, теперь уже видно было, что из его ухаживания за Кончеттой ровно ничего не выходит.

Ну и Анджелика! Когда он укусил ее в губы, как сладка была кровь! Как мягко она поддается его объятиям! Но прав Кавриаги — это бессмысленно.

— Завтра отправимся в церковь и захватим в качестве эскорта не только падре Пирроне, но и мадмуазель Домбрей.

Анджелика тем временем переодевалась в комнатах девушек.

— Mais Angelica, est il Dieu possible de se mettre dans un tel etat? (Боже мой, Анджелика, как можно доводить себя до такого состояния?) — возмущалась Домбрей, пока девушка, стоя в одном лифе и нижней юбке, мыла руки и шею. Прохладная вода остудила возбуждение, и Анджелика подумала, что, пожалуй, гувернантка права: ради чего, собственно, так себя утомлять, возвращаться покрытой пылью, давать другим повод смеяться? Ну, ради чего? Чтоб он заглянул в глаза, чтоб его тонкие пальцы прошлись вдоль тела и только…

Губа еще болела. «Довольно. Завтрашний день проведем в гостиной вместе со всеми». Но завтра те же глаза, те же пальцы снова будут вершить свое колдовство, и оба снова примутся за свою безумную игру в прятки.

Сколь ни парадоксально, но в результате этих совпадавших, хоть и выраженных каждым из них про себя намерений за обедом эта страстно влюбленная пара вела себя спокойней остальных: иллюзорное решение благоразумно провести завтрашний день помогало им развлекаться и иронизировать над проявлениями чужих чувств, которые были менее сильными, чем их собственные.

Танкреди разочаровался в Кончетте. В Неаполе он испытывал по отношению к ней известные угрызения совести и поэтому потащил за собой Кавриаги, который, как он надеялся, заменит кузине его самого; он жалел ее, и это также объяснило его предусмотрительность. Благодаря своей ловкости он сумел весьма тонко и в то же время добродушно выразить ей по прибытии свое соболезнование по тому случаю, что он ее бросил, и выдвинуть вместо себя друга. Бесполезно. Кончетта продолжала разматывать клубок своей институтской болтовни, глядела на сентиментального графчика холодными глазами, в глубине которых можно было даже обнаружить чуточку презрения. Девчонка — дура, толку от нее не жди. Что ей, в конце концов, надо? Кавриаги красив, добр, у него превосходное имя и в придачу богатые сыроварни в Брианце. Словом, он, как принято говорить, «превосходная партия».

Да, Кончетте нужен был он, не так ли? Было время, когда он и сам ее желал; она не так красива и гораздо бедней Анджелики, но есть в ней что-то, чего никогда не иметь его красавице из Доннафугаты. Но жизнь, черт возьми, серьезная штука! Кончетта должна бы это понять. Чего она ни с того ни с сего стала так скверно с ним обходиться? Эта выходка в монастыре Святого духа, потом еще другие! Конечно, в ней заговорил

леопард, но ведь должны быть границы и для этого высокомерного зверя. «Тормоза нужны, дорогая кузина, тормоза! А у вас, сицилийцев, они слабоваты!»

Впрочем, Анджелика в душе держала сторону Кончетты: этому Кавриаги не хватало перца, выйти за него замуж после того, как ты любила Танкреди, все равно что пить воду после марсалы, что сейчас стоит перед ней на столе. Ну, ладно, Кончетта, ее можно понять, зная начало всей этой истории; но две другие дуры, Каролина и Катерина, глядели на Кавриаги глазами дохлых рыб, жеманничали и едва не падали в обморок, как только он подходил к ним поближе. И чем они кончат! При свойственном ей отсутствии щепетильности в семейных делах она не понимала, почему бы одной из них не отбить графчика у Кончетты. «В этом возрасте мальчишки как собаки: стоит свистнуть — и побежит. Они просто дуры: того нельзя, этого не позволяет гордость да вежливость; уж заранее известно, чем все это кончится».

В гостиной, куда мужчины уходили курить после ужина, между Танкреди и Кавриаги, единственными в доме курильщиками и, значит, единственными изгнанниками, шел задушевный разговор. Кончилось тем, что графчик признался другу в крахе своих любовных надежд.

— Она слишком прекрасна, слишком чиста для меня; она меня не любит; я был слишком дерзок в надеждах и уеду отсюда с сердцем, пронзенным кинжалом сожаления. Я даже не осмелился сделать ей определенное предложение. Ведь я для нее не больше чем червяк; да так и должно быть, придется уж мне подыскать червячиху, которая и мной будет довольна.

В свои девятнадцать лет он еще умел смеяться над собственной неудачей.

Танкреди пытался утешить его с высоты своего прочного счастья.

— Знаешь, я помню Кончетту с самого рождения. Она самое милое создание на свете, зерцало всех добродетелей, но чересчур замкнута, излишне сдержанна; потом, она сицилийка до мозга костей, ни разу не выезжала отсюда: кто знает, пришелся бы ей по вкусу Милан? Ведь там о блюде макарон надо заботиться за неделю вперед!

Выпад Танкреди — одно из первых проявлений национального единства — заставил вновь рассмеяться Кавриаги: горести к нему не приставали надолго.

— Но я бы ей достал целые ящики ваших макарон! В любом случае — факт есть факт; надеюсь только, что твои тетя и дядя, которые так добры

ко мне, не будут на меня в претензии за то, что я втерся к вам и теперь уезжаю без всяких результатов.

Танкреди вполне искренне его успокоил, потому что Кавриаги всем, кроме, может быть, Кончетты, пришелся по душе благодаря шутливому своему нраву, который в нем сочетался с самой жалкой сентиментальностью. Они заговорили о другом: об Анджелике.

— Вот ты, Фальконери, ты действительно счастливчик! Откопать такую жемчужину как синьорина Анджелика, в этом свинюшнике (прости меня, дорогой, но это так). Какая красавица, боже правый, какая красавица! Ну и плут же ты, водишь ее часами по самым дальним уголкам этого дома, который велик, как наш миланский собор! Она не только красива, но и умна, образованна, да и добра к тому же. В глазах у нее столько доброты, столько милой наивности.

Танкреди насмешливо поглядывал на друга, который продолжал восхищаться добротой Анджелики.

— По-настоящему добр лишь ты, Кавриаги.

Эти слова только скользнули по самой поверхности дарованного богами оптимизма. Графчик вдруг заявил:

— Послушай, мы через несколько дней уедем; тебе не кажется, что пора бы представить меня матери баронессы?

Впервые Танкреди услышал из уст этого ломбардца титул своей красавицы. Сначала он даже не понял, о ком идет речь. Затем в нем взбунтовался князь.

— Полно, какая там баронесса, Кавриаги, она милая красивая девочка, я люблю ее, и хватит.

Неверно было, что этого «хватит», но Танкреди говорил искренне, атавистическая привычка к обладанию большими богатствами выработала у него такое чувство, будто Джибильдольче, Сеттесоли и полотняные мешочки принадлежали ему если не извечно, то по крайней мере со времен Карла Анжуйского.

— Мне очень жаль, но я боюсь, что ты не сможешь увидеть мать Анджелики: завтра она уезжает в Шиакку лечиться теплыми грязями — она тяжело больна, бедняжка.

Он раздавил в пепельнице остатки виргинской сигары.

— Пошли в гостиную, что мы сидим здесь, как медведи!

В один из этих дней дон Фабрицио получил письмо от префекта Агридженто; выдержанное в предельно вежливом стиле, оно извещало его о приезде в Доннафугату дворянина Аймоне Шевалье де Монтерцуоло, секретаря префектуры, который должен будет переговорить с ним по вопросу, в котором весьма заинтересовано правительство. Дон Фабрицио, удивленный этим известием, на следующий день отправил на почтовую станцию своего сына Франческо Паоло, поручив ему встретить missus dominicus (Посланец божий) и пригласить его остановиться в замке, что было актом не только гостеприимства, но и подлинного милосердия, ибо в противном случае тело пьемонтского дворянина было бы отдано на растерзание тысячам насекомых, обитавших в пещероподобном трактире дядюшки Менико.

Дилижанс с вооруженной стражей, охранявшей денежный ящик, и несколькими пассажирами с непроницаемыми лицами прибыл к ночи. Из него вышел и Шевалье де Монтерцуоло, которого тотчас же можно было узнать по его крайне испуганному виду и осторожным улыбочкам.

Вот уж месяц, как он находился в Сицилии, и вдобавок в самой глухой ее части, куда он свалился прямо из своей мелкопоместной деревушки в Монферрато.

Человек по природе своей застенчивый, он был вдобавок прирожденным чиновником и чувствовал себя здесь весьма неловко. Голова его была набита всякими россказнями о разбойничьих нападениях, которыми сицилийцы так любят испытывать крепость нервов у приезжих, и целый месяц он видел убийцу в каждом чиновнике префектуры и кинжал в любом деревянном ноже для разрезания бумаг на своем письменном столе; кроме того, еда на оливковом масле вот уж с месяц, как привела в расстройство его кишечник. Теперь он стоял здесь в сумерках, со своим темным полотняным чемоданчиком в руках, и разглядывал совсем неприветливую улицу, посреди которой его высадили из дилижанса.

Надпись «Корсо Викбор Эманнуил», выведенная голубой краской на белой стене развалившегося дома, перед которым он стоял, не могла убедить его, что он в конце концов находится среди своих соотечественников; он не осмеливался обратиться с вопросом к кому-либо из крестьян, которые, подобно кариатидам, подпирали стены домов, так как был уверен, что не будет ими понят, и боялся, что ему походя всадят

кинжал в кишки, которыми он дорожил, несмотря на их нынешнее расстроенное состояние.

Когда к нему подошел и представился Франческо Паоло, он вытаращил на него глаза, решив, что уже пришел конец; но благопристойная внешность и честное лицо белокурого молодого человека несколько успокоили его; наконец он понял, что его приглашают остановиться в замке Салина; известие это его поразило и вызвало чувство облегчения. Путь к замку, совершавшийся в полном мраке, показался веселее благодаря своеобразной дуэли между пьемонтской и сицилийской вежливостью (нет в Италии областей, более щепетильных в этом деле), возникшей из-за чемоданчика и кончившейся тем, что легчайшее дорожное снаряжение несли оба рыцарских претендента.

Однако по прибытии в замок Шевалье де Монтерцуоло вновь испытал душевное смятение при виде вооруженных бородатых стражников, размещенных в первом из внутренних дворов.

Доброжелательное и вместе с тем лишенное фамильярности гостеприимство князя, а также очевидное великолепие замка навели его на совершенно противоположные размышления. Отпрыск одного из тех семейств мелкого пьемонтского дворянства, которые в немалых стеснениях проживают в собственных поместьях, он в первый раз в жизни оказался на положении гостя знатного дома, и это обстоятельство удвоило его робость; в то же время страшные небылицы, слышанные им в Агридженто, крайне мрачный вид самой деревни и расположившиеся во дворе лагерем «наемные убийцы», за которых он принял стражников, внушали ему ужас. Он спустился к обеду, измученный противоречивыми опасениями человека, который, с одной стороны, оказался в незнакомом ему высшем обществе, а с другой — чувствовал себя невинной жертвой, попавшей в расставленную разбойниками западню.

За обедом он впервые хорошо поел с тех пор, как нога его ступила на берега Сицилии. Приветливость девушек, суровость падре Пирроне, аристократические манеры дона Фабрицио укрепили его в убеждении, что замок Доннафугаты не был прибежищем бандита Капраро и что ему, пожалуй, удастся выбраться отсюда живым. Более всего его утешило присутствие Кавриаги, который, как он узнал, жил здесь уже десять дней и как будто чувствовал себя превосходно, не говоря уже о том, что был в дружеских отношениях с этим молодым Фальконери — сама возможность дружбы между сицилийцем и ломбардцем представлялась ему чудом.

По окончании обеда он подошел к дону Фабрицио и попросил его уделить ему время для интимной беседы, поскольку намеревался отбыть на следующее утро, но князь с силой хлопнул его ладонью по плечу и с самой обольстительной леопардовской улыбкой заявил:

— Нет, дорогой кавалер, и не думайте; сейчас вы мой гость и будете заложником, покуда я захочу; завтра вы не уедете, и чтобы в этом увериться, я лишу себя удовольствия беседовать с вами с глазу на глаз до завтрашнего полдня.

Эти слова, которые три часа тому назад привели бы в ужас нашего милейшего секретаря, теперь не доставили ему ничего, кроме удовольствия.

В тот вечер Анджелики не было и, значит, играли в вист; сидя за столом вместе с доном Фабрицио, Танкреди и падре Пирроне, он выиграл два «роббера», что составило три лиры и тридцать пять чентезимо, после чего удалился в свою комнату, где смог оценить свежесть простынь и видеть сны, полные веры в торжество справедливости.

На следующее утро Танкреди и Кавриаги дали ему возможность обойти с ними сад, полюбоваться «картинной галереей» и коллекцией гобеленов. Они решили также совершить с ним небольшую прогулку по деревне, которая под ласковыми медовыми лучами ноябрьского солнца показалась ему теперь менее зловещей, — гуляя, им удалось подметить даже несколько улыбок на лицах — Шевалье де Монтерцуоло начал испытывать известное успокоение и насчет судеб деревенской Сицилии.

На это обратил внимание Танкреди, которым тотчас же овладел привычный для островитян зуд, вынуждавший их рассказывать приезжим всевозможные истерии, которые, к сожалению, всегда соответствовали действительности. Они как раз проходили мимо любопытного здания, фасад которого был разукрашен неуклюжими барельефами.

— Вот, дорогой Шевалье, перед вами дом барона Мутоло, теперь он опустел и стоит под замком, семья барона переехала в Агридженто с тех пор, как десять лет тому назад их сын был похищен бандитами.

Пьемонтца охватила дрожь.

— Бедняжки, воображаю, какой выкуп им пришлось уплатить, чтоб вызволить его.

— Нет, они ничего не заплатили, у них и без того были денежные затруднения; впрочем, как и все здесь, они не имели наличных. Но мальчика все равно вернули, только в рассрочку.

— Как, князь? Что это значит?

— В рассрочку, я ведь ясно сказал — в рассрочку: то есть по частям. Сначала поступил указательный палец правой руки. Через неделю — левая нога, и наконец в красивой корзинке под слоем фиников (дело было в августе) прибыла голова с вытаращенными глазами и запекшейся в уголках губ кровью; я-то не видел, тогда был еще ребенком, но мне рассказывали, что зрелище было не из приятных. Корзинку оставили вот на той ступеньке, второй от двери, ее принесла старуха, повязанная черным платком; никто ее не опознал.

Глаза Шевалье застыли от отвращения; он уже слышал об этой истории, но одно дело слышать, а другое — видеть в ясных лучах солнца лестницу, на которой был оставлен этот чудовищный подарок. На подмогу пришла чиновничья душа.

— Что за беспомощная полиция была у этих Бурбонов! Скоро сюда прибудут наши карабинеры, и всему этому будет положен конец.

— Разумеется, Шевалье, разумеется.

Затем они прошли мимо Гражданского клуба, который производил на площади в тени платанов свой каждодневный показ металлических стульев и одетых в траурно-черные костюмы господ.

Поклоны, улыбки.

— Шевалье, поглядите на них хорошенько, постарайтесь запомнить эту сцену; не реже двух раз в году один из этих синьоров присыхает к собственному стулу; выстрел в неясном свете заката — и поминай как звали!

Шевалье ощутил потребность опереться на руку Кавриаги, чтоб почувствовать пульсирование крови северянина.

Вскоре после этого, взобравшись наверх по крутой улочке, они сквозь разноцветные гирлянды вывешенных для просушки кальсон узрели небольшую в стиле наивного рококо церквушку.

— Это церковь Святой нимфы. Пять лет тому назад настоятель ее был убит в храме во время службы.

— Что за ужас! Выстрел в церкви!

— Какой там выстрел, Шевалье! Мы слишком добрые католики, чтоб учинить подобную непристойность. Просто в вино для причастия подлили немного яда; это гораздо скромней и, я бы сказал, более соответствует духу литургии. Так и не узнали, кто это сделал: настоятель был превосходным человеком, у него не было врагов.

Подобно человеку, который, проснувшись ночью, видит привидение в ногах своей постели, там, где валяются носки, и, стараясь преодолеть страх, заставляет себя поверить, что это не более как шутка веселых приятелей, Шевалье прибег к спасительной мысли, что над ним просто хотят посмеяться.

— Очень мило, князь, действительно очень занятная история! Вам бы романы писать, вы так хорошо рассказываете весь этот вздор.

Но голос у него дрожал, и Танкреди стало его жалко; хоть по дороге к дому они и прошли еще мимо трех-четырех по крайней мере столь же памятных мест, он воздержался от роли летописца и заговорил о Беллини и Верди — об этих вечных, неистощимых источниках бальзама, которым лечат язвы нации.

В четыре пополудни князь велел сказать Шевалье, что ждет его в своем кабинете — маленькой комнате, где на стенах под стеклом висели серые с розовыми лапками куропатки, считавшиеся редкими; то были набитые соломой трофеи прошлых охот. Одну из стен облагораживал узкий и высокий книжный шкаф, доверху набитый старыми номерами математических журналов. Над большим креслом для посетителей висело созвездие семейных миниатюр — отец дона Фабрицио, князь Паоло, мужчина с темным цветом лица и губами, чувственными, как у сарацина, в придворном мундире с лентой св. Дженнаро через плечо; княгиня Каролина, уже вдовствующая, с белокурыми волосами, собранными в прическу в виде башни, и строгими голубыми глазами; сестра князя, Джулия, княгиня Фальконери, сидевшая в саду на скамейке; в ее правой руке пунцово-красное пятно маленького открытого зонтика, конец которого упирается в землю, а в левой — желтое пятно, трехлетний Танкреди, он протягивает матери полевые цветы (эту миниатюру дон Фабрицио тайком сунул в карман, пока чиновники описывали мебель виллы Фальконери).

Чуть пониже Паоло, его первенец, в плотно прилегавших к телу белых лосинах; он готовился вскочить на норовистого коня с выгнутой шеей и мечущими искры глазами; затем различные тети и дяди князя, чьи имена не всегда поддавались уточнению, упорно выставляли напоказ свои массивные драгоценности либо скорбно указывали перстами на бюсты своих дорогих покойников.

В центре созвездия, однако, сверкала, словно Полярная звезда, миниатюра более крупных размеров; на ней был изображен сам дон Фабрицио в возрасте чуть старше двадцати, с молоденькой невестой, склонившей к нему на плечо свою голову в порыве полной покорности любви; она — темноволосая, он розовощекий, в серебристо-голубом мундире королевской гвардии, и на лице его, обрамленном недавно пробившимися белокурыми бакенбардами, застыла довольная улыбка.

Едва усевшись, Шевалье изложил суть миссии, которая была на него возложена.

— После счастливого присоединения, я хотел сказать, после торжественного объединения Сицилии с королевством Сардинии, туринское правительство намеревается осуществить назначение сенаторами королевства некоторых знатных сицилийцев. Властям провинции поручено составить список, который затем будет представлен на рассмотрение центрального правительства и, очевидно, на одобрение короля; само собой, что в Агридженто тотчас же подумали о вас, князь. Ваше имя, издревле славное, личный престиж, научные заслуги, а также достойная либеральная позиция во время последних событий — все говорит за вас.

Эта маленькая речь была предварительно заготовлена, более того, занесена в виде кратких карандашных заметок в тетрадочку, которая сейчас покоилась в заднем кармане брюк Шевалье.

Дон Фабрицио, однако, не подавал никаких признаков жизни; за тяжелыми веками едва можно было различить его взгляд. Неподвижная лапища, поросшая золотистыми волосками, целиком покрывала лежавший на столе алебастровый купол собора св. Петра.

Привыкнув теперь к уклончивости, к которой обычно столь разговорчивые сицилийцы прибегают, когда им что-либо предлагаешь, Шевалье не давал себя обескуражить.

— Прежде чем отправить список в Турин мои начальники сочли долгом известить вас об этом и осведомиться, будет ли вам приятно подобное предложение. Просить вас о согласии, на которое правительство весьма рассчитывает, — такова моя миссия; благодаря ей я заслужил честь и удовольствие познакомиться с вами и с вашей семьей, с этим великолепным замком и со столь живописной Доннафугатой.

Лесть соскальзывала с князя, как вода с листьев водяной лилии, — таково одно из преимуществ людей, для которых гордость стала привычной. Он думал: должно быть, этот человечек воображает, что оказал своим прибытием великую честь мне, пэру королевства Сицилии, а это почти то же самое, что сенатор. Конечно, дары следует оценивать, считаясь с тем, кто их преподносит: крестьянин, дающий мне кусок овечьего сыра, делает подарок больший, чем князь Ласкари, когда он приглашает меня к обеду. Это ясно. Вся беда в том, что меня воротит от овечьего сыра. Остается лишь невидимая признательность сердца и вполне зримый нос, который морщится от отвращения.

Представления дона Фабрицио о сенате страдали большой неопределенностью; невзирая на все усилия, он мыслями то и дело возвращался к римскому сенату: к сенатору Папирию, который обломал палку на голове у маловоспитанного галла, к коню Инчитатусу, назначенному в сенат Калигулой, оказавшим ему честь, которую даже Паоло счел бы чрезмерной.

Раздражала и настойчиво вертевшаяся в голове фраза, которую любил повторять падре Пирроне: «Senatores boni viri, senatus autem mala bestia» (Сенаторы — добрые мужи, сенат же — дурной зверь).

Теперь к тому же существовал имперский сенат в Париже, но это лишь сборище людей, пользовавшихся своим положением для получения жирной мзды.

Был с некоторых пор свой сенат и в Палермо, но он являлся лишь комитетом гражданских администраторов самого худшего толка, в котором, например, Робетта мог заменять Салина.

Князь пожелал быть откровенным.

— Кавалер, объясните мне наконец, что это значит быть сенатором; печать недавней монархии не пропускала известий о конституционном устройстве других итальянских государств, а мое недельное пребывание в Турине два года тому назад оказалось недостаточным, чтоб просветиться

на этот счет. Что это? Просто почетное звание? Нечто вроде награды? Или от сенатора требуется участие в делах законодательных, требуется принятие решений?

Пьемонтец, представитель единственного в Италии либерального государства, возмутился.

— Но, князь, сенат — это высшая палата королевства! В нем цвет итальянских политических деятелей, избранных мудростью монарха, сенат изучает, обсуждает, а затем одобряет или отвергает те законы, которые вносит правительство ради достижения прогресса страны, он в одно и то же время и шпоры, и узда: он поощряет добрые дела, препятствует дурным намерениям. Согласившись занять в нем место, вы будете представлять Сицилию наравне с избранными депутатами, вы заставите прислушаться к голосу этой прекрасной земли, которая сегодня показывает свое лицо современному миру; у нее столько язв, подлежащих лечению, и столько справедливых требований, которые надлежит удовлетворить.

Шевалье мог бы еще долго продолжать в том же тоне, если б Бендико, стоявший за дверью, не воззвал к «монаршей мудрости», требуя, чтоб его впустили. Дон Фабрицио стал, не торопясь, подыматься, чтобы открыть дверь, но пьемонтец за это время уже успел впустить собаку; Бендико тщательно и долго обнюхивал штаны Шевалье, затем, убедившись, что имеет дело с порядочным человеком, улегся под окном и заснул.

— Послушайте меня, Шевалье, если бы речь шла просто о почестях, о звании, которое нужно проставить в визитной карточке, и только, я охотно согласился бы: я полагаю, что в этот решающий для итальянского государства час долгом каждого является личное сочувствие общему делу; нужно постараться завуалировать распри перед лицом иностранных государств, которые глядят на нас с опаской или с надеждой, может быть необоснованными, но, однако же, существующими ныне.

— Почему же, князь, в таком случае вам не согласиться?

— Потерпите, Шевалье, сейчас я объясню вам. Мы, сицилийцы, привыкли к длившемуся слишком долго владычеству правителей чуждой нам религии, говорящих не на нашем языке, — вот отчего мы и привыкли всячески изощряться. Ведь иначе нельзя было спастись от византийских сборщиков налогов, от берберийских эмиров, от испанских вице-королей. Теперь эта черта характера устоялась, мы уж такие, как есть.

Я сказал — сочувствие, но не сказал — участие. За эти шесть месяцев, с тех пор как ваш Гарибальди ступил на землю Марсалы, слишком многое было сделано без нашего совета, чтоб теперь можно было требовать от представителя старого правящего класса продолжения и завершения начатого. Я не хочу вступать в спор по поводу того, дурно или хорошо уже сделанное; лично я считаю, что многое было сделано скверно, но сейчас я хочу сказать вам другое, что вы поймете и сами, проживя среди нас год. Для Сицилии неважно, плохо ли, хорошо ли то, что делается: грех, которого мы, сицилийцы, никогда не прощаем, — это, попросту говоря, грех «деланья». Мы стары, Шевалье, мы очень стары. Вот уж по крайней мере двадцать пять веков, как мы несем на своих плечах бремя великолепных и чуждых нам по духу цивилизаций, которые привнесены извне; ни одна из них не пошла от нашей завязи, ни одной из них мы не положили начала; мы люди такой же белой кожи, как и вы, Шевалье, такой же белой, как у королевы Англии, и все же вот уж две с половиной тысячи лет мы являемся колонией. Я говорю это не для того, чтоб жаловаться: это наша вина. Но все равно мы устали, мы опустошены.

Теперь был встревожен Шевалье.

— В любом случае сейчас с этим кончено; теперь Сицилия — уже не покоренная земля, а свободная часть свободного государства.

— Шевалье, это благое, но запоздалое намерение; впрочем, я уже сказал вам, что большая часть вины ложится на нас самих. Вы говорили мне здесь о молодой Сицилии, показывающей свое лицо на удивление современному миру; что до меня, то мне скорее представляется столетняя старуха, которую на тележке тащат по Всемирной выставке в Лондоне, и ничего-то она не понимает, и плевать ей на все шеффилдские сталелитейни и на манчестерские ткацкие фабрики, а хочется ей одного — вернуться к своей полудреме на пропитанных слюной подушках и к ночному горшку под кроватью.

Он еще говорил спокойно, но рука, которая лежала на куполе св. Петра, была крепко сжата, — поздней маленький крестик, венчавший купол, оказался сломанным.

— Сон, дорогой Шевалье, сон — вот к чему стремятся сицилийцы, и они всегда будут ненавидеть тех, кто захочет их разбудить, хотя бы для того, чтобы вручить им самые прекрасные дары; меж нами будь сказано, я очень сомневаюсь, чтоб в багаже нового королевства было припасено много подарков для нас. Все, и в том числе наиболее страстные

проявления сицилийского характера, — лишь отражение этого сна; наша чувственность — стремление к забвению; наши перестрелки и поножовщина — жажда смерти; стремлением к сладострастной неподвижности, то есть опять к смерти, является наша лень, наши сладкие шербеты с корицей; наш созерцательный вид идет от стремления ничтожеств постичь тайны нирваны. Вот отчего преуспевали у нас определенного типа лица — те, кто разбужен лишь наполовину; отсюда и знаменитое вековое отставание сицилийского искусства и научной мысли: новизна привлекает нас, лишь когда она уже похоронена и не в состоянии породить ничего живого; отсюда невероятное количество всяких мифов, к которым можно было бы относиться с почтением, если бы они на самом деле были древними, но ведь это лишь мрачная попытка окунуться в прошлое, которое влечет нас к себе только потому, что мертво.

Не все было понято добрым Шевалье; особенно темным ему показался смысл последней фразы: он видел крашенные во все цвета тележки, в которые запряжены вздыбившиеся кони, он слышал о героическом театре марионеток, но ведь и он считал, что это подлинно древние традиции. Шевалье спросил:

— Но вам не кажется, князь, что вы несколько преувеличиваете? Я был знаком в Турине с эмигрантами из Сицилии, назовем из них хоть Криспи, они вовсе не показались мне сонями.

Князь ответил с раздражением:

— Нас слишком много, чтобы не встретить исключений; о наших полуразбуженных я, впрочем, уже сказал. Что ж до этого молодого Криспи, то, уж конечно, не мне, а вам дано будет увидеть, как он в старости впадет в наше сладострастное оцепенение; так случается со всеми. Все же вижу, что плохо изъяснился, я говорю о сицилийцах, а должен был сказать о Сицилии: о среде, о климате, о сицилийской природе. Это силы, которые еще более властно, чем чужеземные владыки с их бессмысленным насилием, формировали душу; это пейзаж, который не знает середины между порочной расслабленностью и проклятой засухой, это природа, которая не любит размениваться на мелочи. Она не выносит разрядки, необходимой в стране, предназначенной для жизни разумных существ; это страна, где лишь несколько миль отделяют ад вокруг Рандаццо от красот залива Таормины; это климат, который карает нас шесть месяцев в году сорокаградусной лихорадкой; пересчитайте их, Шевалье, пересчитайте-ка: май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь —

шесть раз по тридцать дней, когда солнце пылает над головой; это наше лето, такое же долгое и трудное, как русская зима, только боремся мы против него с меньшим успехом; вы еще этого не знаете, но мы могли бы сказать: не снег валит, а огонь, как над проклятыми библейскими городами; если б сицилиец серьезно трудился на протяжении любого из этих месяцев, то он за каждый из них израсходовал бы столько энергии что ее могло бы хватить на три других; не забывайте и о воде, которой нет, и приходится ее доставлять столь издалека, что каждая капля стоит капли пота; а потом неизменно бурные дожди, от них обезумевают высохшие реки; ливни, от которых люди и животные тонут там, где еще две недели до этого и те и другие погибали от жажды. Такова жестокость пейзажа, такова суровость климата, таково постоянное напряжение, в котором здесь пребывает все, таковы даже памятники прошлого, великолепные, но непонятные нам потому, что они воздвигнуты чужими руками и окружают нас, как прекрасные немые призраки; и все эти правители, неизвестно откуда прибывшие и высадившиеся на наших берегах с мечом в руках: им сначала рабски служат, а вскоре начинают ненавидеть, но их никогда не понимают, их воплощением становятся лишь загадочные для нас произведения искусства да вполне конкретные сборщики налогов, которые затем расходуются не у нас, — все эго образовало наш характер, который таким образом обусловлен роковыми внешними обстоятельствами, а не только пугающей островной отрешенностью наших душ.

Разбушевавшийся идеологический ад, ворвавшийся в этот маленький кабинет, ошеломил Шевалье еще более утреннего описания кровавых происшествий. Он хотел было что-то сказать, но дон Фабрицио был теперь чересчур возбужден, чтоб слушать.

— Не спорю, кое-кому из сицилийцев, вывезенных с острова, удается избежать колдовства; для этого, однако, нужно, чтоб они уезжали отсюда совсем-совсем молодыми; в двадцать лет уже поздно: корка уже образовалась, они останутся при убеждении, что Сицилия такая же страна, как и все другие, лишь подло оклеветанная; что нормальные условия цивилизации существуют у нас, а за нашими рубежами — одни чудачества. Но вы простите меня, Шевалье, я позволил себе увлечься и, верно, вам наскучил. Ведь вы приехали сюда не за тем, чтобы слышать плач Иезекиила над бедами Израиля.

Вернемся лучше к нашей настоящей теме; я весьма признателен правительству за то, что оно вспомнило обо мне в связи с сенатом, и прошу вас передать мою искреннюю благодарность, но согласиться я не

могу. Я представитель старого класса, который в силу неизбежных обстоятельств скомпрометирован бурбонским режимом и — при отсутствии уз привязанности — связан с ним узами приличия. Я принадлежу к несчастному поколению, живущему на гребне между старым в новым временем; и нам одинаково плохо и в том и в другом. Кроме того, и вы не могли этого не заметить, сам я лишен иллюзий; чем я могу быть полезен сенату, какую пользу может ему принести неопытный законодатель, лишенный способности обманывать самого себя, этого наиболее важного качества для тех, кто хочет вести за собой других? Люди нашего поколения должны сидеть в уголке и поглядывать на то, как молодежь кувыркается и скачет, делает кульбиты вокруг этого разукрашенного катафалка. Вам теперь нужна молодежь, нужны люди ловкие, с умом, направленным скорее на то, «как делать», чем «к чему делать», люди, которые способны к маскировке, то есть, хочу я сказать, умеющие скрывать вполне ясные личные интересы за туманными общественными идеалами.

Он замолчал, рука оставила в покое св. Петра. Затем продолжил:

— Позвольте мне через вас подать совет вашим начальникам.

— Само собой разумеется, князь, он будет выслушан с величайшим вниманием, но я не теряю надежды, что вы вместо совета разрешите передать о вашем согласии.

— Я хотел бы подсказать вам имя для сената; я думаю о Калоджеро Седара. Он в большей степени, чем я, заслуживает назначения в сенат; я слышал, что он принадлежит к старинному роду или в конце кондов род его станет старинным; в его руках власть, а это больше того, что вы называете престижем; при отсутствии заслуг научных он обладает выдающимися практическими достоинствами; его более чем безупречное поведение во время майских событий оказалось чрезвычайно полезным; не думаю, чтоб он питал больше иллюзий, чем я, но он достаточно ловок, чтобы создать их себе, если понадобится. Это тот человек, какой вам нужен. Но вам придется поторопиться: я слышал, он собирается выставить свою кандидатуру в палату депутатов.

В префектуре было много разговоров о Седаре; его деятельность на посту мэра и его личные дела были хорошо известны.

Шевалье вздрогнул: будучи человеком честным, он относился к законодательным палатам с уважением, равным лишь чистоте его собственных намерений; но именно поэтому он решил промолчать. (И

был в конце концов прав, воздержавшись от компрометирующих суждений: десять лет спустя дон Калоджеро был назначен сенатором.) Шевалье, невзирая на свою честность, не был глупцом; конечно, ему не хватало той живости мышления, которая в Сицилии ценится как ум, но он с медлительной солидностью вынашивал свои суждения и был свободен от присущей южанам безучастности к чужим бедам. Он понял горечь и досаду дона Фабрицио и на мгновение вспомнил картины нищеты, отчаяния, мрачного равнодушия, свидетелем которых вот уж месяц являлся. Несколько часов тому назад он завидовал изобилию и барскому укладу дома Салина, а теперь с чувством нежности вспоминал о своем жалком винограднике, о своем Монтерцуоло неподалеку от Казале, таком некрасивом, заурядном, но зато спокойном и полном жизни. Им овладело сострадание к князю, лишенному надежд, к босоногим ребятишкам, к женщинам, измученным малярией, ко всем этим жертвам, не всегда невинным, чьи списки поступали каждое утро в его служебный кабинет; все они в конце концов одинаковы, спутники по несчастью, брошенные в один и тот же отрезанный от мира колодец.

Он решил предпринять последнюю попытку. Поднялся. От волнения голос его звучал патетически.

— Князь, неужели вы действительно отказываетесь сделать все возможное для облегчения положения, неужели вы не хотите помочь устранению материальной нужды и той слепой моральной нищеты, в которой пребывает этот народ, ваш народ? Климат побеждают, стирается память о скверных правителях; сицилийцы захотят стать лучше; если честные люди умоют руки, освободится путь для людей без совести и без будущего — для всех этих Седара, и все снова будет, как в прежние века. Князь, прислушайтесь к голосу вашей совести, заставьте умолкнуть ту гордую истину, которую вы здесь высказали. Я призываю вас сотрудничать.

Дон Фабрицио взглянул на него с улыбкой, взял за руку, усадил подле себя на диване.

— Вы благородный человек, Шевалье, я почитаю за счастье познакомиться с вами; во всем вы правы; ошиблись вы только, когда сказали: «Сицилийцы захотят стать лучше». Хочу рассказать вам о случае, который был со мной. За два-три дня до вступления Гарибальди в Палермо мне представили нескольких офицеров английского флота, служивших на кораблях, которые стояли тогда на рейде, чтоб наблюдать за событиями. Не знаю, откуда им стало известно, что у меня есть дом прямо

у моря, с террасой на крыше, откуда видны все горы вокруг Палермо; они попросили разрешения посетить дом, чтобы взглянуть на места, где, как говорили, сосредоточиваются гарибальдийцы, — они не могли разглядеть их как следует со своих кораблей. Гарибальди на самом деле был уже в Джибильроссе. Они вошли в дом, я провел их на самый верх; они, несмотря на свои рыжеватые бакенбарды, оказались наивными молодыми людьми. Их привела в восторг панорама, льющиеся потоки света; однако они признались мне, что были потрясены нищетой, ветхостью и грязью дорог, ведших к дому. Я не стал объяснять им, как пытался объяснить это вам, что одно является следствием другого. Потом один из них спросил, зачем же все-таки направились в Сицилию эти итальянские добровольцы?

— They are coming to teach us good manners, — ответил я.

— But they won`t succeed, because we are gods. Они пришли, чтоб обучить нас хорошим манерам, но это им не удастся, потому что мы боги. Думаю, что они не поняли меня; рассмеялись и ушли. Я и вам отвечу так же, дорогой Шевалье: сицилийцы никогда не захотят стать лучше по той простой причине, что считают себя совершенством; их тщеславие много сильней нищеты; любое вмешательство людей, им чуждых — либо по происхождению, либо, если речь идет о сицилийцах, по независимости ума, — лишь нарушает их тщеславные бредни о достигнутом совершенстве и только тревожит их самодовольное выжидание конца; их топтали в грязи десятки различных народов, но сами они считают себя наследниками полного величия имперского прошлого, которое дает им право на пышные похороны. Неужели вы, Шевалье, действительно считаете, что до вас никто не пытался направить Сицилию в русло всеобщей истории? Кто знает, сколько мусульманских имамов, сколько рыцарей короля Руджеро, сколько писцов свевских королей, сколько анжуйских баронов, сколько католических законников были охвачены тем же прекрасным безумием; я уж не стану перечислять испанских вице-королей и реформаторов — чиновников Карла III. Кто знает, кого здесь только не было! Сицилия желала одного — спать, невзирая на все их призывы; зачем ей было слушать их, если она богата, мудра, цивилизованна, честна, если все ей завидуют, все восхищаются ею, одним словом, если она совершенна!

Теперь и у нас из уважения к написанному Прудоном и одним немецким евреем (имя его я запамятовал) твердят, что в скверном состоянии дел здесь и повсюду повинен феодализм, значит, иначе говоря, есть доля и моей вины. Пусть так, но феодализм был повсюду, и были повсюду

иностранные вторжения. Не думаю, чтоб ваши предки. Шевалье, или английские сквайры и французские сеньоры управляли лучше Салина. И все же мы пришли к различным результатам. Причина этого различия лежит в том чувстве превосходства, которое так и сверкает в глазах у каждого сицилийца; мы его называем гордостью, а по существу это слепота. Теперь, да и долго еще с этим ничего не поделать. Сожалею, но в политических делах я не смогу протянуть вам и палец. Пожалуй, его у меня откусят. Такие речи нельзя держать перед сицилийцами: я бы, впрочем, и сам оскорбился, если бы мне все это сказали вы.

Уже поздно, Шевалье: нам нужно переодеться к обеду. Несколько часов мне придется играть роль цивилизованного человека.

Шевалье уезжал ранним утром следующего дня, и дон Фабрицио, который собрался на охоту, легко смог проводить его до почтовой станции. Дон Чиччьо Тумео был с ним и нес на плечах двойное бремя двух ружей, своего и князя, а в душе горькое сознание своих попранных добродетелей.

В бледном свете раннего утра — была всего половина шестого — пустынная Доннафугата выставляла напоказ свое отчаяние. Вдоль прокаженных стен ее жилищ валялись отбросы жалкой пищи, в которых рылись дрожавшие от неутоленного голода псы. Кое-где уж были открыты двери, и зловоние спавших вповалку людей неслось по улице; при свете лучины матери разглядывали пораженные трахомой веки детей; почти все женщины носили по ком-то траур, многие из них были женами тех похожих на привидение крестьян, на которых наталкиваешься у каждого поворота.

Мужчины, взяв в руки мотыгу, направлялись на поиски того, кто, если господу будет угодно, даст им сегодня работу; вокруг царило глухое молчание, прерываемое лишь истерическими, исступленными возгласами; у стен монастыря Святого духа оловянная заря брызгала слюной на свинцовые облака.

Шевалье подумал: «Так продолжаться не может — наша новая, умелая, современная администрация изменит все».

Князь был подавлен.

— Всему этому должен был бы прийти конец, однако все останется таким навсегда, разумеется, речь идет о доступном человеку «навсегда», то есть на сто, на двести лет… а потом все будет по-другому, но еще хуже. Мы —

леопарды, львы; те, кто придет на смену, будут шакалишками, гиенами; но все мы, леопарды, шакалы и овцы, — будем по-прежнему считать себя солью земли.

Они обменялись любезностями, распрощались. Шевалье забрался в почтовый дилижанс, возвышавшийся на четырех колесах цвета блевотины. Лошадь — одни язвы да ребра, торчащие с голодухи, — начала свой долгий путь.

День едва занимался; скупой свет, пробившийся из-под стеганого одеяла облаков, не смог преодолеть слоя грязи, с незапамятных времен приставшей к окошкам кареты. Шевалье уезжал один; невзирая на толчки на ухабах, он смочил слюной кончик указательного пальца, протер в окне дырку величиной с глаз. Перед ним в пепельном предутреннем свете вздрагивала земля, чье горе не поддавалось искуплению.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Приезд падре Пирроне в Сан-Коно. — Беседа с друзьями и собирателем трав. — Семейные горести иезуита. — Последствия этих горестей. — Беседа с «человеком чести». — Возвращение в Палермо.

Февраль 1861

Падре Пирроне был из простой семьи: он родился в крохотной деревушке Сан-Коно, которая теперь благодаря автобусам почти стала одним из «малых спутников» Палермо, но сто лет тому назад принадлежала к иной, так сказать, самостоятельной планетной системе, находясь от палермского солнца на расстоянии, измеряемом четырьмя-пятью часами езды на повозке.

Отец нашего иезуита был надсмотрщиком в двух расположенных на территории Сан-Коно поместьях, являвшихся гордостью аббатства св. Елевтерия. Работа надсмотрщика в те времена была сопряжена с опасностями для души и тела, поскольку вынуждала общаться с разными людьми и знакомиться с различными историями, постепенное накопление которых вызывало недуг, пригвождавший одним «ударом» (это самое точное слово) больного к земле под каким-нибудь забором, — тогда уж все эти занятные истории хранились под семью печатями в его чреве и становились недоступны любознательным бездельникам.

Однако дону Гаэтано, родителю падре Пирроне, удалось избежать этого профессионального недуга благодаря строжайшей гигиене, в основу которой положена молчаливость, и заблаговременному применению предупредительных средств; он мирно скончался от воспаления легких солнечным февральским воскресеньем, когда ветер шелестел лепестками цветущих миндальных деревьев.

Вдову и трех детей (двух дочерей и нашего священника) он оставил в сравнительно сносном материальном положении; будучи человеком предусмотрительным и умевшим копить деньги даже при совсем ничтожном жалованье аббатства, он в минуту перехода в лучший мир обладал миндальной рощицей в глубине долины, несколькими кустами винограда на склонах и, повыше в горах, небольшим участком каменистой земли под пастбищем; конечно, это — достояние бедняка, но при тогдашней нищей экономике Сан-Коно оно придавало ему известный вес. Он был также владельцем домика строго кубической формы, выкрашенного снаружи в голубой, а внутри в белый цвет; в доме, стоявшем у самого въезда в деревню со стороны Палермо, было четыре комнаты в верхнем и четыре в нижнем этаже.

Падре Пирроне покинул этот дом в шестнадцать лет, когда успехи в приходской школе и благоволение аббата Митрато из монастыря св. Елевтерия направили его стопы в семинарию архиепископства; но прошли годы, и он с тех пор не раз возвращался в родную деревню, чтобы благословить брак сестер и дать (разумеется, в качестве духовного лица) последнее, впрочем, бесполезное отпущение грехов умиравшему дону Гаэтано; теперь он возвращался сюда в последние дни февраля тысяча восемьсот шестьдесят первого года к пятнадцатилетней годовщине смерти своего родителя, и снова, как и тогда, был ветреный солнечный день.

Уже пять часов продолжалась езда по ухабам; ноги дона Пирроне свисали прямо под хвост лошади; но, преодолев отвращение, вызванное патриотическими картинками, нанесенными свежей краской на стенки возка и венчавшимися витиеватым изображением пламенно-красного Гарибальди под руку со св. Розалией цвета морской воды, он признал, что это были довольно приятные часы.

Долина, ведущая от Палермо в Сан-Коно, сочетает в себе великолепие прибрежной зоны и суровую неумолимость природы внутренней Сицилии; здесь налетают внезапные порывы ветра, они очищают воздух и славятся тем, что могут отклонить полет пули, с умыслом и точно

направленной в цель, отчего стрелки, стоящие перед столь смелыми баллистическими задачами, предпочитают иные места для своих упражнений. Возчик, хорошо знавший покойного, без конца вспоминал его заслуги; эти воспоминания не всегда подходили для слуха сына и священника, но все же они льстили человеку, привыкшему выслушивать других.

По приезде он был встречен со слезами радости. Обняв и благословив свою мать — седую женщину с розовым лицом в неизменном чёрном шерстяном платье в знак траура, — он поздоровался с сестрами и племянниками, косо взглянул на бывшего среди них Кармело, который обладал настолько дурным вкусом, что по случаю праздника нацепил себе на шапку трехцветную кокарду. Не успел он войти в дом, и на него, как всегда, вихрем налетели милые воспоминания юности: все здесь осталось как было — пол из красных плиток и скромная мебель, и даже свет, проникавший сквозь маленькие оконца, — и пес Ромео, чей прерывистый лай доносился из угла, был удивительно похож на своего прадеда — четвероногого друга, с которым падре Пирроне весело играл когда-то; а из кухни доносился вековой аромат рагу — томившихся в помидорном соусе лука и мяса кастрированного ягненка, которое ели в особые дни. Все здесь свидетельствовало о безмятежности, достигнутой стараниями умершего.

Вскоре вся вместе отправились в церковь к заупокойной мессе. Сан-Коно в тот день проявлял себя с лучших сторон и чуть ли не с гордостью выставлял напоказ все разнообразие своих отбросов. По крутым улицам деревни вперемежку с людьми бегали игривые козы с черным обвисшим выменем; тут же во множестве сновали темные боровы сицилийской породы, резвые, как молодью жеребцы. Падре Пирроне стал чем-то вроде местной знаменитости — вот отчего вокруг него толпились дети и даже парни, женщины, просившие благословения либо вспоминавшие о былых временах.

Войдя в ризницу, он вместе с приходским священником помолился по случаю благополучного возвращения в родные места; затем, прослушав мессу вместе с родными, направился к отцовскому надгробию в близлежащей часовне; женщины с плачем целовали мрамор плиты; сын на своей загадочной латыни вслух прочел молитву; когда они вернулись домой, рагу уже было готово и пришлось весьма по вкусу падре Пирроне: его не испортила кулинарная утонченность виллы Салина.

Под вечер друзья, пришедшие повидаться, собрались в его комнате. С потолка свисала медная лампа с тремя светильниками, разливая по комнате мягкий свет своих погруженных в масло фитилей; на стоявшей в углу кровати бросались в глаза разноцветные матрасы и тяжелое желто-красное одеяло; в другом углу, отделенный толстой и плотной циновкой, стоял ящик, в котором хранилась медового цвета пшеница, каждую неделю отправляемая на мельницу, чтобы обеспечить нужды семьи; на стенах висели рябые изображения св. Антония, указующего перстом на божественного младенца; св. Лючии с широко раскрытыми глазами и св. Франческо. Саверио, который держит речь перед толпами полуголых, разукрашенных перьями индейцев; за окнами дома в звездных сумерках завывал ветер, который один лишь на свой лад поминал покойного.

Посреди комнаты прямо под лампой стояла на полу большая жаровня с ободком из светлого дерева, о который можно было упираться ногами; около жаровни на веревочных стульях расположились гости. Здесь были приходский священник, оба брата Скиро — местные землевладельцы — и дон Пьетрино — престарелый собиратель и продавец трав; в мрачном настроении пришли они сюда и мрачными пребывали; покуда женщины убирали внизу, здесь говорили о политике и надеялись услышать от падре Пирроне утешительные вести; он прибыл из Палермо, жил среди «синьоров» и многое должен был знать.

Утолив жадных до новостей земляков, друг-иезуит, однако, разочаровал жаждущих утешения. Отчасти в силу своей искренности, отчасти из соображений тактических он рисовал будущее в черных красках. Над Гаэтой еще развевался трехцветный флаг Бурбонов, но блокада оказалась свирепой и один за другим взлетали на воздух пороховые склады этой крепости, — там нечего больше спасать, разве только честь, а ее-то как раз и не хватало; Россия была другом, но далеким; Наполеон III держался вероломно, но был под боком; а о восстаниях в Базиликате и Терра ди Лаворо иезуит говорил неохотно: они в глубине души вызывали у него стыд.

— Нужно будет, — сказал он, — подчиниться этому итальянскому государству, безбожному и хищному, покориться его законам экспроприации и принуждения, которые из Пьемонта докатятся и сюда, подобно холере. Увидите, — сказал он в заключение слова, которые звучали не оригинально, — увидите, нам не оставят и глаз, чтоб плакать.

К этим словам применился традиционный хор деревенских жалоб. Братья Скиро и продавец трав уже ощутили укусы налогов; первых обложили чрезвычайными сборами и добавочными процентами; второго постигла огорчительная неожиданность — его призвали в мэрию и сказали: буде он не станет выплачивать двадцать лир в год, ему не позволят торговать лекарственными травами.

— Но ведь я эту кассию, этот дурман, все эти святые травы, сотворенные господом, собираю своими руками в горах, в дождь и в зной, в предписанные дни и ночи! Сушу их на солнце, которое принадлежит всем, и сам толку их пестом, принадлежавшим еще моему деду! При чем же тут людишки из мэрии? Почему я им должен платить эти двадцать лир? Так, ради прекрасных глаз?

Его беззубый рот комкал слова, но в помрачневшем взгляде сверкала подлинная ярость.

— Прав я или нет, падре? Скажи мне ты.

Иезуит любил его: он был уже взрослым, согнувшиеся от постоянных блужданий и сбора трав мужчиной, когда священник еще запускал камни в воробьев; падре Пирроне даже испытывал к нему чувство признательности: продавая свои настойки женщинам, он всегда объяснял, сколько раз перед питьем нужно прочесть «Ave Maria» и «Отче наш», — иначе, мол питье не подействует. Осторожный рассудок иезуита не желал ведать, из чего на самом деле изготовлялись эти смеси и какие надежды возлагали на них покупатели.

— Вы правы, дон Пьетрино, сто раз правы! А как же? Но если они не отберут деньги у вас и у других, таких, как вы, бедняков, где ж им найти; средства, чтоб воевать с папой и грабить то, что ему принадлежит?

При мягком свете лампы, дрожащем от ветра, которому удавалось проникнуть сквозь плотные ставни, разговор затянулся. Падре Пирроне уже перешел к неизбежной в будущем конфискации церковного имущества — прощай тогда снисходительная власть местного аббатства; прощай похлебка, которую бесплатно раздавали в тяжелые зимние месяцы.

Младший Скиро неосторожно заявил, что, может быть, при новых порядках некоторые из бедных крестьян получат свой участок земли, но его робкие предположения были встречены полнейшим презрением.

— Вот увидите, дон Антонио, увидите. Мэр сам купит все земли, сделает первый взнос, а потом поминай как звали. Так уж было в Пьемонте.

Кончилось тем, что они ушли еще более хмурые, чем пришли, унося двухмесячный запас роптании. Остался лишь собиратель трав, который этой ночью решил не спать — взошла молодая луна, и он должен был отправиться к скалам Пьетрацци собирать розмарин; фонарик он захватил с собой и хотел сразу отсюда отправиться в путь.

— Но ты, падре, живешь среди благородных. Что говорят синьоры об этом пожарище? Что о нем говорит князь Салина, этот великий, гневный и гордый человек?

Падре Пирроне много раз задавал самому себе этот вопрос, и ему нелегко было на него ответить, прежде всего потому, что он отверг либо счел преувеличением сказанное ему доном Фабрицио в то утро в обсерваторий почти год тому назад. Теперь ему был известен ответ, но не удавалось облечь его в форму, понятную дону Пьетрино, человеку далеко не глупому, но разбиравшемуся, в антикатаральных, противочесоточных и даже возбуждающих свойствах трав значительно лучше, чем в подобных абстракциях.

— Видите, дон Пьетрино, нелегко понять «синьоров», как вы их называете. Они живут в особом мире, который не был непосредственно создан богом; они сами его сотворили за многие века своим особым опытом, своими горестями и радостями; у них прочная память, их волнуют или радуют вещи, которые для вас и для меня совершенно безразличны, но для них имеют жизненное значение, потому что тесно связаны со всеми воспоминаниями, надеждами и опасениями класса. Божественному провидению было угодно, чтобы я стал ничтожной частицей самого славного из орденов вечной церкви, за которой окончательная победа; вы находитесь на другой ступени лестницы, не скажу, что на самой низкой, но только на другой. Обнаружив большой куст оригана или гнездо со шпанской мушкой — я знаю, дон Пьетрино, вы их тоже собираете, — вы вступаете в прямую связь с природой, которую господь создал, равно предусмотрев возможности зла и добра, дабы человек мог осуществить свободный выбор; когда к вам обращаются за советом лукавые старухи или похотливые девушки, вы спускаетесь в пропасть веков, доходя до темных времен, предшествовавших свету Голгофы.

Старик глядел на него в изумлении; он хотел знать, доволен ли князь Салина новым положением вещей, а тот ему толковал о шпанских мушках и свете Голгофы. «Бедняжка, он от чтения лишился рассудка!»

— Но «синьоры» не таковы, нет, они живут в мире, где им все уготовано. Мы, священники, нужны им, чтоб успокоить насчет загробной жизни, так же как знатоки трав нужны им, чтобы готовить успокаивающее либо возбуждающее питье. Я этим не хочу сказать, что они скверные люди; совсем нет. Просто они другие; быть может, они кажутся нам такими странными, потому что достигли того, к чему стремятся все не ставшие святыми, — равнодушия к земным благам, приобретенного в силу привычки. Может быть, поэтому они оставляют без внимания некоторые вещи, для нас весьма важные. Живущие в горах не тревожатся о комарах в долине; жители Египта пренебрегают дождевыми зонтами. Но первые боятся змей, вторые — крокодилов, о которых нам с вами не приходится думать.

У них также появились свои тревоги, о которых мы и не ведаем; я видел, как такой серьезный и умный человек, как дон Фабрицио, помрачнел из-за скверно выглаженного воротничка сорочки, и мне достоверно известно, что князь Ласкари не спал целую ночь от огорчения и злости лишь потому, что на обеде у наместника его по ошибке посадили не на то место. Не кажется ли вам теперь, что тип человека, который выходит из себя только из-за скверно выглаженного белья или ошибки дворецкого, это и есть счастливый, а значит, и высший тип?

Дон Пьетрино решительно ничего не понимал: чем дальше, тем больше вздора; теперь уже дошло до воротничков рубашки и крокодилов. Но выручил его природный здравый смысл крестьянина.

— Но если это так, падре, то все они попадут в ад?

— А почему? Кое-кто погибнет, иные спасутся, в зависимости от того, как жили они в этом своем условном мире. Вот Салина, к примеру, должен был бы спастись: он хорошо играет в свою игру, не нарушает правил, не жульничает. Господь карает тех, кто по своей воле нарушает ведомые ему божественные законы, кто добровольно вступает на скверный путь; но тем, кто следует своим путем, не совершая бесчинств, — тем нечего опасаться. Вот, например, вы, дон Пьетрино, если заведомо станете продавать цикуту вместо мяты, Знайте — вам несдобровать; но если вы поступали так по неведенью, значит, какой-нибудь старушке суждено

скончаться благородной смертью Сократа, а вы, весь в белом, в тунике, увенчанный лавром, отправитесь прямехонько на небо.

Смерть Сократа оказалась для собирателя трав каплей, переполнившей чашу его терпения; он сдался и уснул. Падре Пирроне это заметил и остался доволен, он теперь мог говорить свободно, без опасения быть понятым неверно; а говорить ему хотелось, он стремился закрепить в вполне конкретных словах неясные мысли, которые его волновали.

— И они вдобавок делают много добра. Вот пример: сколько семейств уже было бы на мостовой, если б не получали помощь из этих замков! И они не требуют взамен ничего, даже воздержания от краж. Они поступают так не из упрямства, а в силу непонятного, атавистического инстинкта, не позволяющего действовать по-иному. Хоть на первый взгляд кажется, что это и не так, но они менее эгоистичны, чем другие: блеск их домов, пышность их празднеств заключает в себе нечто безликое и чем-то походит на великолепие церквей и литургии; это и есть нечто совершаемое «ad maiorem gentis gloriam» (К вящей славе людской), — ради славы, которая искупает многие их прегрешения; за каждый выпитый ими бокал шампанского они угощают пятьдесят человек; когда же они, как бывает, обойдутся с кем-нибудь скверно, то Это не столько их личный грех, сколько способ утверждения их сословия. Fata crescunt! (Факты доказуют). Дон Фабрицио, к примеру, опекал и воспитывал племянника Танкреди, словом, спас бедного сироту, который без него погиб бы. Вы мне скажете, что он так поступил потому, что мальчик тоже из «синьоров», а за другого он и палец в воду не окунет. Это верно, не зачем ему поступать иначе, если он искрение, всей душой верит, что все «другие» — неудавшиеся экземпляры человеческой породы, вышедшее из рук ремесленника изделие из майолики, которое даже не стоит обжигать?

Если бы вы, дон Пьетрино, в эту минуту не спали, вы вскочили бы с места, желая сказать мне, что «синьоры» поступают скверно, презирая других людей, и что все мы в равной степени подвержены двойному рабству любви и смерти, все мы равны перед создателем. Я мог бы только согласиться с вами. Но к этому я добавил бы, что несправедливо обвинять в презрении к другим одних лишь «синьоров», поскольку это порок всеобщий. Тот, кто преподает в университете, презирает учителишку из приходской школы, хоть и не подает виду, что это так; поскольку вы все еще спите, могу вам без всяких недомолвок сказать, что священники считают себя выше мирян, а мы, иезуиты, ставим себя выше всего остального духовенства, подобно тому как вы, продавцы трав, презираете

зубодеров, а они вас. Врачи в свою очередь высмеивают зубодеров и торговцев травами, а их самих считают ослами те больные, которые хотят жить по-прежнему, хотя их сердце и печень уже превратились в кашу; для судей адвокаты — лишь докучливый народ, стремящийся обойти закон, а, с другой стороны, литература полна сатиры на помпезность, невежество и еще кое-что похуже тех же судей. Только те, кто работают мотыгой, презирают лишь самих себя; когда же и они научатся высмеивать других, цикл будет завершен и придется все начинать сызнова.

Думали вы когда-нибудь, дон Пьетрино, о том, сколько названий разных профессий пущены в ход как ругательства? Начиная от носильщиков, сапожников и пирожников, до reitre (наемный солдат, в просторечий — насильник) и pompier (пожарник, употребляется и в значении пьянчуга) у французов. Люди не думают о заслугах носильщиков и пожарников; они замечают лишь их случайные недостатки и огульно величают их грубиянами и хвастунишками; поскольку вы не можете меня слышать, должен сказать вам, что мне превосходно известно, какое значение в обиходе приобрело слово «иезуит».

Эти аристократы стыдятся собственных бед; я видел сам одного несчастного, который решил завтра покончить с собой, а накануне сам улыбался и резвился, как мальчик перед первым причастием; меж тем вы, дон Пьетрино, если вам предстоит выпить один из ваших декоктов из кассии, оглашаете своими стонами всю деревню. Гнев и насмешка — вот черты настоящих синьоров, а не печаль и жалобы. Более того, хочу вам дать совет: если встретите любящего жаловаться и стонать «синьора», поройтесь в его генеалогическом древе и вы быстро обнаружите в нем отсохшие ветви.

Это сословие трудно искоренить, потому что оно, в конце концов, постоянно обновляется, и к тому же эти люди, когда нужно, умеют умирать хорошо, то есть бросив свое семя в минуту кончины. Взгляните на Францию: они изящно давали себя убивать, а теперь они живут, как прежде, я говорю, как прежде, потому что не поместья и феодальные права создают знать, а различия. Мне рассказывали, что в Париже теперь содержат фиакры польские графы, которых восстания и деспотизм принудили к изгнанию и нищете; на своих буржуазных седоков они глядят столь хмуро, что бедняги, сами не зная отчего, садятся в коляску, имея униженный вид пса, случайно забредшего в храм.

И еще скажу вам, дон Пьетрино, что если этот класс должен будет исчезнуть, как уж не раз бывало на свете, то ему тотчас же придет на смену другой, с теми же достоинствами и недостатками; быть может, Этот новый класс будет основан не на кровном родстве, а, скажем, на… старшинстве… кто сколько прожил в каком-либо месте или на лучшем якобы знакомстве с какими-либо текстами, которые станут почитаться священными.

В эту минуту на деревянной лесенке послышались шаги матери; она вошла и рассмеялась.

— А с кем же ты толковал тут, сынок? Разве не видишь, что твой приятель спит?

Падре Пирроне слегка застыдился. Не ответив на ее вопрос, он сказал:

— Сейчас я его провожу. Бедняга, ему всю ночь придется провести на холоде.

Он вывернул фитиль фонарика, поднявшись на цыпочки, зажег его от лампы, запачкав при этом свою сутану, затем водворил фитиль на место и закрыл фонарь.

Дон Пьетрино плыл на парусах сна; струйка слюны стекала с губы на воротник. Потребовалось немало времени, чтобы его разбудить.

— Прости меня, падре, ты несусветные вещи говорил.

Они улыбнулись друг другу, спустились по лестнице, вышли из дому. Ночь поглотила все: домик, деревню, долину; едва виднелись горы, близкие и хмурые, как всегда. Ветер утих, но стало очень холодно неистово сверкали звезды, излучая тысячи градусов тепла, но им было невмочь согреть бедного старика.

— Хотите, дон Пьетрино, я пойду принесу для вас еще один плащ?

— Спасибо, я привык. Завтра увидимся, и ты скажешь тогда, как князь Салина перенес революцию.

— Я вам тотчас же отвечу в двух словах: он говорит, что никакой революции не было и что все останется по-прежнему,

— Ну и дурак! А это тебе не революция, когда мэр хочет заставить меня платить за травы, сотворенные Богом и собранные мною самим? Может, и ты немного в уме повредился?

Свет фонарика то появлялся, то исчезал, покуда не потонул в плотном, — как войлок, мраке.

Падре Пирроне подумал, что тем, кто не знает ни математики, ни теологии, мир должен представляться сложной головоломкой.

— Господи, лишь ты во всеведении твоем мог придумать такие трудноразрешимые загадки.

На следующее утро ему пришлось столкнуться с новой загадкой, причисленной к трудноразрешимым. Спустившись вниз, он собрался отправиться в приходскую церковь, дабы служить там мессу. Внизу он увидел свою сестру Сарину, которая в кухне нарезала лук. Однако слезы в ее глазах были крупней, чем требовалось при таком деле.

— Что случилось, Сарина? У тебя неприятности? Не огорчайся: Господь карает и утешает.

Ласковый голос рассеял остаток сдержанности, которым еще обладала бедная женщина; она громко зарыдала, уткнувшись лицом в засаленный стол. Сквозь рыдания слышались одни и те же слова:

— Анджелина, Анджелина… Если Винченцино узнает, он их обоих убьет… Анджелина… Он их убьет!

Засунув руки за широкий черный пояс и выставив наружу одни лишь белые пальцы, падре Пирроне, стоя, разглядывал ее. Понять было нетрудно: Анджелина — незамужняя дочь Сарины; Винченцино, чья ярость вызывала такие опасения, был отцом девушки, шурином священника. В этом уравнении единственным неизвестным было имя того, кто, по всей вероятности, стал любовником Анджелины.

Девушка, которую иезуит вчера видел, семь лет тому назад была плаксивой девчонкой; теперь ей, должно быть, уже восемнадцать, и глядела она дурнушкой: рот выдавался вперед, как у многих крестьянок в здешних местах, а глаза смотрели испуганно, как у пса без хозяина. Он заметил ее, когда приехал, и в глубине души довольно немилосердно сравнил с Анджеликой, внесшей недавно смятение в дом Салина.

Звучное имя Анджелика, которое так полюбилось еще Ариосто, соответствовало ее красоте, точно так же как плебейское окончание имени племянницы вполне подходило к ее невзрачному виду.

Значит, случилась большая беда и ему придется ее расхлебывать; теперь ему припомнились слова дона Фабрицио: когда встречаешь родственника, всякий раз натыкаешься на колючку. Он вытащил из-за пояса правую руку и, сняв шляпу, ласково притронулся к вздрагивавшему плечу сестры.

— Послушай, Сарина, полно тебе! К счастью, я здесь, а слезами горю не поможешь. Но где же Винченцино?

Винченцино отправился в Римато к полевому сторожу братьев Скиро. Тем лучше, можно будет спокойно поговорить. Печальную историю кое-как удалось узнать, несмотря на всхлипывания, потоки слез и ручьи из носу. Анджелина (ее звали просто Нчилина) дала себя соблазнить; это прискорбное происшествие случилось в дни бабьего лета; она отправилась к своему возлюбленному на сеновал донны Нунциаты; вот уж три месяца, как Анджелина беременна, и теперь, обезумев от ужаса, во всем призналась матери; скоро станет заметен живот, и тогда Винченцино не стерпит и устроит резню.

— Он и меня прикончит за то, что молчала; он «человек чести».

Низколобый, с прядями волос на висках — их здесь называли «качьолани», — всегда раскачивающийся на ходу, с постоянно оттопыренным правым карманом штанов, Винченцино и в самом деле с первого взгляда производил впечатление «человека чести», то есть одного из тех буйных дураков, которые по любому поводу готовы начать побоище.

Сарина зарыдала пуще прежнего — теперь ее ко всему еще грызло нелепое раскаяние, как она могла преуменьшить заслуги мужа, этого зерцала благородства.

— Сарина, Сарина, успокойся же! Нельзя так! Парень должен на ней жениться и женится. Я отправлюсь к нему в дом, поговорю с ним и с родными, все уладится. Винченцино сообщим только об обручении, и его драгоценная честь не понесет урона. Но я должен знать, кто это. Назови мне его, если хочешь?

Сестра подняла голову; теперь в ее глазах можно было прочесть уже не животную боязнь удара, а страх перед чем-то более острым, о чем брат покуда не мог догадаться.

— О, святой Пирроне! Это сын Тури! Он сделал это назло, назло мне, назло нашей матери, сделал, чтоб оскорбить святую память нашего отца. Я с ним ни разу не говорила, но стороной слыхала о нем хорошее; а он-то

оказался безобразником, достойным сынком своего сволочного отца, — нет у него чести. Я только потом вспомнила: тогда, в ноябре, он здесь то и дело прогуливался с двумя приятелями, а у самого за ухом красная герань. Адское пламя, адское пламя!

Иезуит взял стул, уселся рядом с женщиной. Теперь уж ясно, что он запоздает к мессе. Дело оказалось сложным. Тури, отец обольстителя Сантино, приходился ему дядей; он был братом, старшим братом, покойного отца. Двадцать лет тому назад он вместе с покойным работал в поместье; то была пора самой кипучей и доходной их деятельности. Затем братьев разъединила ссора, одна из тех ссор, которую нельзя уладить, потому что каждая из спорящих сторон, вынужденная многое скрывать, не желает высказаться ясно и определенно. Все дело в том, что с тех пор, как блаженной памяти покойник стал владельцем миндальной рощицы, брат его Тури начал утверждать, что на самом деле половина рощи принадлежит ему, ведь он внес за нее половину денег — или вложил половину своего труда; акт покупки был составлен лишь на имя покойного дона Гаэтано, и Тури пришел в ярость; разгуливая по улицам Сан-Коно, он с пеной у рта нападал на брата; под ударом оказался престиж покойного; но в дело вмешались друзьями удалось избежать худшего; рощица осталась за Гаэтано, но между двумя ветвями семьи Пирроне образовалась бездонная пропасть; Тури потом даже не пришел на похороны брата, и в доме у сестры его иначе как «сволочью» не называли.

Иезуит был осведомлен обо всем посредством весьма путаных писем, которые под диктовку писались приходским священником, и у него был свой определенный взгляд на все это мерзкое дело, который он никогда не высказывал из чувства сыновнего почтения. Рощица теперь принадлежала Сарине.

Все было вполне ясно: любовь и страсть не имели к этому отношения. Это всего лишь свинство, которым отомстили за другое свинство. Однако все можно исправить; падре Пирроне благодарил провидение за то, что оно привело его в Сан-Коно именно в эти дни.

— Послушай, Сарина, эту беду я улажу за два часа, но ты должна мне помочь. Половину Киббаро (так называлась рощица) придется отдать в приданое Нчилине. Иного средства нет: эта дура вас разорила.

И он подумал, что господь порой не брезгает и загулявшей собачонкой, чтобы вершить свою справедливость.

Сарина пришла в бешенство.

— Половину Киббаро? Этому крапивному семени? Никогда! Пусть она лучше умрет!

— Ладно. Значит, после мессы я переговорю с Винченцино. Не бойся, постараюсь его успокоить. — Он надел шляпу, засунул руки за пояс. Теперь он ждал спокойно, уверенный в себе.

Даже просмотренный и выправленный отцом иезуитом перечень яростей Винченцино оказался неудобочитаемым для несчастной Сарины, которая в третий раз принялась плакать; но и всхлипывания мало-помалу затихали и вскоре вовсе прекратились. Женщина встала.

— Да свершится воля господня; уладь это дело, а то здесь нет больше житья. Такая роща! Пот и кровь нашего отца!

Слезы вновь готовы были политься, но падре Пирроне вовремя ушел.

Месса была отслужена, выпита чашка кофе, предложенная приходским священником, и тогда иезуит отправился прямо в дом к дяде Тури.

Он никогда там не был, но знал, что эта жалкая лачуга стоит в самой верхней части деревни, рядом с кузницей мастера Чиччу. Он быстро нашел дом, окон в нем не было, а дверь была открыта, чтоб проникал свет. Падре остановился на пороге; внутри, в темноте, были свалены в кучу вьючные седла для мулов, сумки, мешки; чтоб свести концы с концами, дон Тури стал погонщиком мулов; теперь ему помогал сын.

— Дорацио, — воззвал падре Пирроне, применив сокращенную форму Deo grazias (или graziamus) (Благодарю (или благодарим) господа), которой священники пользовались, спрашивая разрешения войти. Старческий голос прокричал в ответ:

— Кто там? — И мужчина, сидевший в глубине комнаты, поднялся и направился к двери.

— Я племянник ваш, падре Саверио Пирроне. Хотел бы, если разрешите, с вами потолковать.

Визит не был слишком неожиданным: уже по крайней мере два месяца здесь ждали, что появится он или кто-либо вместо него. Дядя Тури оказался крепким и державшимся прямо стариком, такому не страшен ни зной, ни град; лишь мрачные морщины — следы пережитых бед — бороздили его недоброе лицо.

— Входи, — хмуро произнес он, затем уступил падре дорогу и как бы нехотя собрался поцеловать его руку. Дон Пирроне уселся на большое деревянное седло. Дом оказался донельзя бедным: в углу скреблась парочка куриц, и все здесь пропахло навозом, мокрой одеждой и злой нищетой.

— Дядя, вот уж очень много лет, как мы не видимся. Но нет в том моей вины; вы знаете, я не живу в деревне; впрочем, и вы никогда не показываетесь в доме моей матери, вашей золовки; мы сожалеем об этом.

— Ноги моей в этом доме никогда не будет. У меня все нутро переворачивается, даже когда мимо прохожу. Тури Пирроне не забывает нанесенной ему обиды, даже двадцать лет спустя.

— Разумеется, я понимаю, разумеется. Но сегодня я явился к вам, как голубь с Ноева ковчега, хочу возвестить, что потоп окончен. Очень рад, что я здесь, и вчера был счастлив узнать дома, что Сантино, ваш сын, обручился с моей племянницей Анджелиной; все говорят, что они хорошая пара; их союз положит конец раздору между нашими семьями, который, позвольте мне это сказать, меня никогда не радовал.

Лицо Тури выразило удивление, слишком подчеркнутое, чтоб не быть притворным.

— Падре, если б не было на вас святых одежд, я бы сказал вам, что вы врете. Каких только россказней не наслышишься от ваших баб. Сантино в жизни не говорил с Анджелиной; он слишком уважительный сын, чтоб пойти против воли своего отца.

Иезуит восхищался сдержанностью старика, невозмутимостью, с какой он лгал.

— Как видно, дядя, меня ввели в заблуждение; подумайте только, ведь мне сказали, что вы уже договорились о приданом и сегодня оба придете к нам в дом и тогда объявят помолвку. Чего только не выдумают эти бездельницы женщины: но если даже это и неверно, то говорит о добрых стремлениях их сердец. Ну, дядя, не стану вас больше задерживать, пойду-ка домой и немедленно отчитаю свою сестру. А вы меня простите: очень был рад застать вас в добром здоровье.

На лице старика появились признаки жадного интереса.

— Погодите, падре. Почему бы вам не посмешить меня еще немного болтовней женщин вашего дома? О каком же приданом толковали эти сплетницы?

— Почем мне знать, дядя! Я краем уха слышал, что называли половину рощи Киббаро! Нчилина, говорили, для них всего на свете дороже, и нет такой жертвы, которую не принесли бы, чтоб только обеспечить мир в семье.

Дон Тури больше не смеялся. Он встал.

— Сантино! — горланил он теперь с той же силой, с какой звал своих заупрямившихся мулов. Но никто не откликнулся, и тогда он заорал во всю глотку: — Сантино!.. Куда же он запропастился? Клянусь кровью мадонны. — Увидев, как вздрогнул падре Пирроне, он неожиданно прикрыл себе рукой рот.

Сантино возился со скотом в соседнем дворике. Он смущенно вошел, держа скребницу в руке. Красивый, высокий и сухощавый, как отец, парень двадцати двух лет с еще не успевшими ожесточиться глазами. Накануне он, как и все, видел на деревенской улице иезуита и тотчас же узнал его.

— Вот Сантино. А это твой двоюродный брат — падре Саверио Пирроне. Благодари господа, что здесь сейчас преподобный, не то я бы тебе уши оторвал. Что это за шашни, о которых я, отец твой, ничего не знаю? Сыновья рождаются для отцов, а не затем, чтоб бегать за юбками.

Парень стыдился не столько своего непослушания, сколько полученного им заранее согласия, и не знал, что ему теперь сказать; чтобы как-нибудь выйти из затруднения, он положил наземь скребницу и подошел поцеловать руку священнику. Тот в улыбке обнажил зубы и благословил его со словами:

— Пусть господь тебя хранит, сын мой, хоть я и думаю, что ты этого не заслуживаешь.

Старик продолжал:

— Твой двоюродный брат так долго меня просил и уговаривал, что я в конце концов решил дать тебе свое согласие. Но чего ты мне прежде не сказал? Теперь умойся, и мы тотчас же отправимся в дом к Нчилине.

— Погодите, дядя, погодите. — Падре Пирроне подумал о том, что ведь ему еще следует переговорить с ничего не ведавшим «человеком чести». — В доме, конечно, захотят подготовиться; мне сказали, что вас ждали к вечеру. Приходите к этому времени, для нас это будет праздник.

Отец и сын обняли его, и священник удалился.

Вернувшись в кубический домик, падре Пирроне обнаружил, что Винченцино уже воротился; чтобы успокоить свою сестру, он смог лишь подмигнуть ей, стоя за спиной у гордеца мужа, — знак, вполне понятный для нее, ведь и она родилась в Сицилии. Затем он объявил своему шурину, что должен с ним побеседовать, и оба они направились в захудалый садик за домом.

Подол широкой сутаны колыхался вокруг иезуита, создавая нечто вроде движущейся, но непреодолимой преграды, жирные космы «человека чести» развевались на ветру как вечный символ грозного высокомерия. Впрочем, их беседа вовсе не походила на то, что предвидел падре Пирроне.

«Человек чести», уверившись в неизбежности бракосочетания Нчилины, проявил стоическое равнодушие к поведению дочери. И, напротив, после первого же намека на приданое, которое придется дать, глаза его вылезли из орбит, вены на висках вздулись и он стал раскачиваться, как безумный, изрыгая поток самых мерзких непристойностей. Теперь он был исполнен решимости убивать; рука его, даже не пошевельнувшаяся, чтоб защитить честь своей дочери, нервно ощупывала правый карман штанов в знак того, что ради защиты миндальной рощи он готов пролить чужую кровь до последней капли.

Падре Пирроне дал исчерпаться его сквернословию, он только быстро-быстро крестился, когда ругань переходила в богохульство; на жест, предвещавший убийство, он и вовсе не обратил внимания. Воспользовавшись паузой, он сказал:

— Разумеется, Винченцино, я тоже хочу всячески помочь тому, чтоб все уладилось. Вышлю тебе из Палермо в разорванном виде то письмо, которым обеспечены мои права на владение частью наследства покойного отца.

Действие этого бальзама сказалось немедленно. Винчеяцино умолк и стал в уме подсчитывать стоимость передаваемого ему наследства; в залитом солнцем холодном воздухе зазвучал искаженный до неузнаваемости мотив песни, которую Нчилина пожелала исполнить, прибирая в комнате дяди.

После обеда дядя Тури и Сантино явились с визитом, оба они старательно умылись и надели чистые белые рубахи. Жених и невеста, усевшись рядышком на стульях и глядя в лицо друг другу, то и дело разражались

шумным смехом, не говоря при этом ни слова. Они и в самом деле были очень довольны: она тем, что «пристроилась» и теперь этот красивый парень принадлежит ей; он, что последовал отцовскому совету и приобрел себе служанку и половину миндальной рощи. Красная герань, которая вновь торчала у него за ушами, никому уже более не казалась отблеском адского пламени.

Два дня спустя падре Пирроне возвращался в Палермо. По пути он приводил в порядок свои впечатления; не все они были приятными. Эта недобрая любовь, созревшая бабьим летом, эта принесшая горе половина миндальной рощи, отторгнутая посредством умышленного обольщения, напомнили о грубой и жалкой стороне иных событий, которые он наблюдал за последнее время.

Большие синьоры были сдержанны и непонятны, крестьяне откровенны, и все в них было ясно; но дьявол в равной степени обводил вокруг пальца и тех и других.

На вилле Салина он застал князя в отличном расположении духа. Дон Фабрицио спросил у него, хорошо ли он провел эти четыре дня и не позабыл ли передать от него привет своей матери. Он действительно был с ней знаком: шесть лет тому назад она была гостьей на вилле, и вдовье ее спокойствие пришлось по душе хозяевам дома.

О привете иезуит позабыл — поэтому промолчал; он только сказал, что мать и сестра просили его выразить их почтение его превосходительству, что было с его стороны лишь выдумкой — значит, грехом менее тяжким, чем ложь.

— Ваше превосходительство, — добавил он, — хочу просить вас, если можно, завтра распорядиться, чтоб мне дали коляску; я должен отправиться в архиепископство испросить разрешение на брак: моя племянница выходит замуж за двоюродного брата.

— Разумеется, дон Пирроне, разумеется, если только пожелаете, но послезавтра я должен ехать в Палермо; вы могли бы отправиться со мной; неужто вам так к спеху?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

По дороге на бал. — Бал: появление Паллавичино и Седара. — Недовольство дона Фабрицио. — Зал для танцев. — В библиотеке. — Дон

Фабрицио танцует с Анджеликой. — Ужин: беседа с Паллавичино, — Бал затихает. — Возвращение домой.

Ноябрь 1862

Княгиня Мария-Стелла поднялась в коляску, уселась на голубом атласе подушек и, насколько возможно, подобрала и пригладила шуршащие складки платья. Вслед за ней в коляску взошли Кончетта с Катериной; они сели напротив, от их одинаковых розовых платьев повеяло тонким ароматом фиалок. Затем чья-то тяжелая огромная нога уперлась о подножку, и коляска на высоких рессорах покачнулась: то усаживался дон Фабрицио. Теперь экипаж был полнехонек, как яйцо; волны шелка, обручи трех кринолинов то и дело сталкивались, вздымались чуть ли не до самых голов; внизу сплошная путаница обуви: шелковые туфельки девушек, темно-красные с медным отливом туфельки княгини, огромные черные ботинки князя: каждому мешали чужие ноги, и никто не знал, где его собственные.

Убрали ступеньки подножки, лакей выслушал распоряжение: «В замок Понтелеоне». Он поднялся на запятки; конюх, державший повода, отошел в сторону; кучер неприметно щелкнул языком, коляска тронулась.

Отправлялись на бал.

В то время Палермо переживал одно из своих очередных светских увлечений — неистовое увлечение балами. После прихода пьемонтцев, после событии в Аспромонте, когда исчезли призраки экспроприации и насилия, двести человек — всегда одни и те же, из которых и состоял «свет», — неустанно встречались, чтоб поздравить друг друга с тем, что они еще существуют.

Всевозможные развлечения, мало чем отличающиеся друг от друга, повторялись столь часто, что Салина решили на три недели переехать в свой городской дворец, чтоб избежать утомительных ежевечерних поездок в Сан-Лоренцо.

В длинных, черных, похожих на гроб ящиках прибывали из Неаполя платья для дам; шляпницы, парикмахеры, сапожники метались в истерике; приведенные в отчаяние слуги без конца бегали к портнихам со взволнованными письмами.

Бал у Понтелеоне являлся самым значительным событием в этом коротком сезоне: блеск имени и дворца хозяев, большое число приглашенных придавали ему важность в глазах всех. Но еще важней он был для Салина,

которые на этом балу собирались представить «обществу» Анджелику, прекрасную невесту своего племянника.

Было всего лишь половина одиннадцатого: для князей Салина, привыкших приезжать в самый разгар праздника — слишком ранний час, чтоб появиться на балу. Но на этот раз пришлось нарушить традиции: Салина желали быть на балу в ту минуту, когда прибудут Седара, люди, которые, конечно, будут следовать точно указанному на сверкающем картоне пригласительного билета времени («они еще не знают этикета, бедняжки»). Стоило немалого труда выхлопотать для них один из таких билетов; их никто не знал — и Марии-Стелле за десять дней до бала пришлось нанести визит Маргерите Понтелеоне; разумеется, все обошлось хорошо, но это была одна из тех заноз, которые женитьба Танкреди, вонзила в деликатную лапу леопарда.

Дорога к замку Понтелеоне была короткой; она проходила по путаным, темным улочкам. Ехали шагом: улица Салина, улица Валверде, спуск Бамбинаи с лавчонками восковых фигурок, такой веселый днем и столь мрачный ночью. Лошадиные подковы осторожно скользили между черными домами, которые спали либо же притворялись уснувшими.

Девушки, эти непонятные существа, для которых бал — праздник, а не докучливая светская обязанность, болтали вполголоса; княгиня Мария-Стелла ощупывала сумочку, чтоб убедиться, не позабыта ли «летучая соль»; дон Фабрицио предвкушал действие красоты Анджелики на всех этих людей, ее не знавших, и впечатление, которое произведет на тех же людей знавших его слишком хорошо, богатство Танкреди. Одно лишь омрачало князя: каков будет фрак дона Калоджеро? Спору нет, фрак будет не такой, как тогда в Доннафугате; дон Калоджеро был поручен заботам Танкреди, который повел его к лучшему портному и даже присутствовал на примерках. Вчера он заявил официально, что как будто доволен результатами; однако, добавил по секрету: «Фрак как фрак, но отцу Анджелики не хватает шика». Это не вызывало сомнений, но Танкреди ручался, что дон Калоджеро будет выбрит превосходно и прилично обут. А это уже кое-что значит.

Коляска остановилась там, где спуск Бамбинаи выходит к церкви св. Доменико; послышался серебристый звон колокольчика, за поворотом возник священник, несший чашу со святыми дарами; шедший позади клирик держал над его головой белый, шитый золотом Зонт; другой мальчик нес в левой руке толстую зажженную свечу, а правой с великим

удовольствием трезвонил в серебряный колокольчик. Значит, в одном из этих наглухо закрытых домов кто-то бьется в агонии, кто-то ждет последнего причастия.

Дон Фабрицио вышел из коляски, стал на колени посреди мостовой, женщины осенили себя крестом, Звон колокольчика затерялся в переулках, круто спускающихся к церкви св. Джакомо. Коляска с седоками, обремененными спасительным предупреждением, снова направилась к своей теперь уже близкой цели.

Прибыли, сошли у подъезда; коляска затерялась посреди огромного двора, откуда доносился топот лошадей и где мелькали приехавшие ранее экипажи.

Лестница была из скромных материалов, но отличалась благородством линий; по обе стороны каждой ступеньки вывялись резко пахнувшие, совсем простые цветы; посреди площадки, разделявшей две анфилады комнат, неподвижно застыли в своих пудреных париках и малиновых ливреях два лакея — живые красочные пятна на серовато-жемчужном фоне. За двумя высокими зарешеченными окнами бил ключом смех и раздавались приглушенные детские голоса: младшие дети, внуки Понтелеоне, не допущенные на праздник, в отместку передразнивали гостей.

Дамы расправляли складки шелка, князь с тростью под мышкой стоял ступенькой ниже и все же был на целую голову выше женщин.

В дверях первой гостиной их встречали хозяева: дон Дьего, седой, с толстым брюшком, которого только суровый взгляд спасал от плебейского вида; жена его, донна Маргерита, за тройным ожерельем изумрудов и сверканьем диадемы показывала кислое, как у старого священника, лицо.

— Вы прибыли рано! Тем лучше! Но успокою вас, ваши приглашенные еще не приехали. — Новая соломинка причинила легкую боль чувствительным коготкам леопарда. — Танкреди уже здесь.

И в самом деле, в противоположном углу гостиной их племянник, черный и гибкий, как змея, окружил себя тремя-четырьмя молодыми людьми, которых заставлял надрываться от смеха, рассказывая им какие-то свои, вне сомнения, весьма пикантные истории, но глаза его, как всегда

неспокойные, не отрываясь глядели на входную дверь. Танцы уже начались, и сюда через анфиладу гостиных доносились звуки оркестра.

— Мы ждем и, полковника Паллавичино, того самого, что так хорошо повел себя под Аспромонте.

Фраза князя Понтелеене казалась простой, но, по сути дела, не была такой. На первый взгляд это заявление было лишено политического смысла; оно ставило своей целью лишь воздать хвалу такту, деликатности, волнению и даже нежности, с какой в ногу Генерала всадили пулю, а также последовавшим за тем поклонам, коленопреклонениям и целованью рук раненого Героя, когда он лежал под каштаном на склоне горы в Калабрии и улыбался скорее от волнения, чем от избытка иронии, на которую имел право (Гарибальди — увы! — лишен был чувства юмора).

Эта фраза на какое-то мгновение нашла в сознании князя чисто техническое толкование: он одобрил действия полковника, который правильно выбрал диспозицию, должным образом расположил свои батальоны и сумел добиться от противника того, чего под Калатафимя но непонятным причинам не удалось добиться Ланди. В глубине души князь считал, что «полковник повел себя хорошо», раз он сумел остановить, победить, ранить и захватить в плен Гарибальди и тем спас достигнутый с таким трудом компромисс между старым и новым.

Вызванная, если не сотворенная, этими лестными словами и еще более лестными размышлениями фигура полковника появилась на верхних ступенях лестницы. Он шел, позвякивая на ходу цепочками, подвесками, шпорами. Двубортный мундир плотно облегал его; в правой руке он держал увенчанную перьями шляпу, а запястьем левой опирался о кривую саблю. Полковник был человек светский, с безупречными манерами и, как теперь уже знала вся Европа, славился способностью многозначительно целовать руки; любая дама, на пальцы которой в тот вечер опускались его надушенные усы, была в состоянии со знанием дела вызвать в памяти историческую минуту, которую уже прославил лубок.

Выдержав душ похвал, обрушенный на неге Понтелеоне, пожав два пальца, протянутые ему доном Фабрицио, Паллавичино погрузился в ароматное пенистое море дамского общества. Его самодовольное мужественное лицо выплывало из-за белоснежных дамских плеч, и доносились обрывки произносимых им фраз: «Он плакал, графиня, плакал, как ребенок». Либо: «Он был прекрасен и спокоен, как архангел».

Мужская сентиментальность полковника восхищала дам, уже успокоенных залпами его берсальеров.

Анджелика и дон Калоджеро запаздывали, и семейство Салина подумывало о том, чтоб пройти в гостиные, когда внезапно увидели, как Танкреди бросил окружавшую его группу молодежи и с быстротой ракеты ринулся к входной двери: прибыли те, кого поджидали.

Над розовым вихрем непременного кринолина возникали белые плечи и руки Анджелики, нежные и сильные; юная гладкая шея была украшена умышленно скромным жемчужным ожерельем, в повороте небольшой головы ощущалась надменность. Когда из разреза длинной лайковой перчатки показалась ее рука, не маленькая, но превосходной формы, можно было видеть, как сверкнул купленный в Неаполе сапфир.

Дон Калоджеро шел следом за ней, как мышонок, который стережет сверкающую розу; костюм его не отличался занятностью, но на этот раз он выглядел прилично. Единственной оплошностью был недавно полученный им крест итальянской короны в петлице; впрочем, он скоро исчез в одном из потайных карманов фрака Танкреди.

Жених уже обучил Анджелику невозмутимости, лежащей в основе достоинства. («Дорогая, экспансивной и шумной ты можешь быть только со мной, для всех других ты должна стать будущей княгиней Фальконери, которая выше многих и считает себя равной кому угодно»). Вот почему ее поклон хозяйке дома был непроизвольной, но весьма удачной смесью девичьей скромности, неоаристократического высокомерия и молодого изящества.

В конце концов, жители Палермо — тоже итальянцы и более кого-либо восприимчивы к очарованию красоты и престижу денег. К тому же Танкреди, несмотря на всю свою привлекательность, был широко известен как человек без гроша в кармане и, следовательно, считался плохой партией (совсем напрасно, как выяснилось в будущем, когда уже было слишком поздно); его более ценили замужние дамы, чем девицы на выданье. Сочетание всех этих достоинств и недостатков придало неожиданную теплоту приему, который был оказан Анджелике. По правде говоря, кое-кто из молодых людей сожалел о том, что не он раскопал для себя такую красивую и набитую монетами амфору; однако Доннафугата была поместьем дона Фабрицио; раз он уж нашел там такое сокровище и передал его своему любимчику Танкреди, значит, сожалеть об этом можно

не более, чем если б он обнаружил в одном из своих земельных угодий серный рудник: это его добро, тут уж ничего не скажешь.

Но и эта легкая оппозиция была рассеяна сияньем ее глаз. Вскоре образовалась целая плеяда молодых людей, желавших ей представиться и пригласить на танец; но она всем показывала свое carnet, в котором подле каждой польки, мазурки и вальса стояла подпись: Фальконери.

От синьорит сыпались предложения «перейти на ты»; через час Анджелика была уже своей среди людей, не имевших ни малейшего представления о дикости ее матери и скаредности отца.

Она ни на мгновение не выдала себя: не бродила по залу, замечтавшись; руки ее были словно прикованы к телу, голос ни разу не возвысился над голосами других дам, впрочем достаточно высокими.

За день до бала Танкреди сказал ей:

— Знаешь, дорогая, мы (а теперь, конечно, и ты) ничем так не дорожим, как нашими домами и нашей мебелью; ничто не оскорбляет нас больше, чем пренебрежение к ним; значит, гляди на все и похваливай все, — впрочем, замок Понтелеоне того заслуживает, — но ты уже не та провинциалочка, которую можно удивить чем угодно, поэтому, хваля, делай какую-нибудь оговорку; восхищайся, да, но всегда сравнивай с каким-нибудь ранее виденным и знаменитым образцом.

Долгие прогулки по замку Доннафугаты многому научили Анджелику. Вот почему она в этот вечер, останавливаясь в восхищении перед каждым гобеленом, говорила, что у гобеленов во дворце Питти более красивый бордюр; она похвалила мадонну Дольчи, однако напомнила, что у мадонны Грандука лучше выражена печаль; даже о ломте торта, принесенном ей одним заботливым молодым синьором, она сказала, что он превосходен и почти так же хорош, как торты, изготовленные «монсу Гастоном» — поваром Салина. Поскольку монсу Гастон был Рафаэлем среди поваров, а гобелены дворца Питти были монсу Гастоном в обойном деле, никто ничего не мог возразить; более того, все были польщены сравнением; с этого вечера она стала приобретать славу вежливой, но непреклонной ценительницы искусства, славу, которая незаслуженно сопровождала ее на протяжении всей долгой жизни.

Покуда Анджелика собирала лавры, пока Мария-Стелла, сидя на диване, сплетничала с двумя старыми подругами, а Кончетта с Каролиной своей застенчивостью замораживали даже самых любезных молодых людей, дон

Фабрицио бродил по гостиным; он целовал руки дамам, которых встречал, в знав приветствия, небрежно хлопал по плечу мужчин, желая их приветствовать, и чувствовал, как им постепенно овладевает дурное настроение. Прежде всего ему не нравился дом: Понтелеоне уже семьдесят лет не обновляли обстановки, которая сохранилась со времен королевы Марии-Каролины, и князь, считавший себя человеком современных вкусов, был возмущен.

«Боже мой, что стоит Дьего при его доходах убрать все эти трюмо, все эти тусклые зеркала! Пусть обзаведется красивой мебелью из палисандра с плюшем, сам заживет с удобствами, да и гостям тогда не придется бродить по этим катакомбам. Кончится тем, что я скажу ему».

Но он никогда не сказал об этом Дьего, потому что такие суждения в нем породило лишь скверное настроение и дух противоречия: они вскоре вылетели у него из головы, да он и сам ничего не менял ни в Сан-Лоренцо, ни в Доннафугате. Однако эти мысли лишь увеличивали его раздражение.

Женщины, бывшие на балу, ему также не нравились. Две-три пожилые дамы когда-то были его любовницами; теперь, видя их, обремененных годами и золовками, он с трудом мог представить себе, как они выглядели двадцать лет назад, и испытывал досаду, думая, что потерял лучшие свои годы на то, чтоб преследовать (и настигать) подобных уродин.

Но и молодые не представляли из себя ничего интересного, разве что хороша была совсем молоденькая герцогиня Пальма, в которой его восхитили серые глаза и строгая мягкость обращения, да еще Туту Ласкари, из которой, будь он помоложе, можно было бы исторгнуть самые звучные аккорды.

Но другие… Хорошо, что из мрака Доннафугаты возникла Анджелика, чтобы показать палермцам, что такое красивая женщина.

Его ни в чем нельзя было упрекнуть; в те годы частые браки между родственниками, продиктованные сексуальной ленью и земельными расчетами, недостаток протеина в пище, усугубленный изобилием крахмальных веществ, полнейшее отсутствие свежего воздуха и движения наполнили салоны толпами неимоверно низкорослых, невыносимо картавивших девиц с неповторимым оливковым цветом лица. На балу они жались друг к другу, сбившись в кучу, и лишь хором обращали в сторону испуганных молодых людей свои призывы; казалось, все они должны были служить только фоном тем трем-четырем прекрасным созданьям, которые, вроде белокурой Марии Пальмы или красавицы Элеоноры

Джардинелли, проходили мимо, скользя, словно лебеди по пруду, полному лягушек.

Чем дольше князь на них глядел, тем больше раздражался; разум его, привыкший к долгому одиночеству и отвлеченному мышлению, под конец вызвал у него некое подобие галлюцинации: проходя длинной галереей, где на пуфах расположилась многочисленная колония этих созданий, он вообразил себя служителем зоологического сада, которому поручено сторожить сотню обезьянок, и ждал, что они вот-вот вскарабкаются на люстры и станут раскачиваться, зацепившись хвостом и выставив напоказ свои зады, чтобы затем обрушить на мирных гостей поток воплей и гримас, закидать их ореховой скорлупой.

Как ни странно, но именно религиозное чувство избавило его от этого зоологического виденья: от компании обезьянок в кринолинах исходил монотонный и непрестанный призыв к божественным силам. «Мария! Мария!» — не переставали восклицать эти бедные лягушки. «Мария! Какой прекрасный дом!», «Мария! Какой красавец этот полковник Паллавичино!», «Мария! У меня болят ноги!», «Мария! До чего я проголодалась! Когда откроют буфет?» Имя девственницы, к которой взывал этот девичий хор, наполняло собой галерею и вновь превращало обезьянок в женщин, поскольку еще не поступало известий, что шимпанзе бразильских лесов обратились в католическую веру.

Испытывая легкое чувство тошноты, князь перешел в соседний салон, где собралось столь различное и враждебное племя мужчин; молодежь танцевала, здесь были лишь люди пожилые, все его друзья. Он немного посидел с ними: тут больше не взывали всуе к царице небесной, но воздух сгущался от обилия прописных истин и плоских разговоров.

Среди этих тривиальных синьоров дон Фабрицио слыл человеком «экстравагантным», в его интересе к математике усматривали чуть ли не греховную извращенность; не будь он князем Салина, не будь о нем известно, что он превосходный наездник, неутомимый охотник и волокита, он мог бы оказаться вне закона из-за своих телескопов и параллаксов. Поэтому с ним редко вступали в разговор: холодная голубизна его глаз, глядевших из-под тяжелых век, выбивала собеседников из седла, и часто он оказывался в одиночестве, Потому что его побаивались (а не уважали, как казалось ему!).

Князь встал; грусть превратилась в настоящую черную тоску. Он поступил опрометчиво, приехав на этот бал; Стелла, Анджелика и девочки

превосходно справились бы одни, а он мог бы сейчас блаженствовать в своем маленьком, прилегавшем к террасе кабинете на виа Салина; там под журчание фонтана он бы пытался ухватить кометы за хвост.

«Ничего не поделаешь, теперь я здесь, будет невежливо уйти. Лучше поглядим, как танцуют».

Зал для танцев весь в позолоте: гладкое золото карнизов, золотые кромки над дверными рамами, светлые, камчатные, почти серебристые узоры на фоне более темного золота покрывают двери и жалюзи, которыми не только прикрыли, но как бы зачеркнули окна, придав залу надменный вид ларца и устранив всякую возможность сопоставления с внешней средой, недостойной его красоты. То не была броская позолота, которой теперь щеголяют некоторые декораторы; золото в этом зале сверкало тусклым огнем, было бледным, как волосы девочек на севере, оно должно было под покровом ныне утраченного целомудрия скрывать стоимость драгоценного материала, который стремится показать свою красоту и заставляет позабыть о своей цене. А вдоль панелей разбросаны цветы в стиле рококо, краска которых, казалось, улетучилась до такой степени, что их можно было принять лишь за призрачный отблеск огней.

И все же эти солнечные тона, это чередование бликов и теней причинили боль сердцу дона Фабрицио. Он стоял в дверях, неподвижный и черный: в этом зале, отмеченном патрицианской роскошью, перед ним возникали деревенские картины, эта хроматическая гамма вызывала в его памяти зрелище нескончаемых полей вокруг Доннафугаты, исступленно моливших о пощаде своего тирана — солнце; в этом зале, как и в поместьях к середине августа, урожай уж давно собран и ссыпан где-то в амбары, здесь, как и там, память о нем сохранилась только в красках стерни, выжженной и никому не нужной.

Вальс, звуки которого неслись в теплом воздухе, казался ему лишь стилизацией непрестанной песни ветров, заупокойной песней ветра самому себе, которая плывет над изнывающими от жажды просторами, — так было вчера, сегодня, так будет завтра, так будет всегда, всегда, всегда. Толпа танцующих, среди которой было немало людей, близких ему по крови, но не по духу, в конце концов показалась ему призрачной и сотканной из той же материи, что и предсмертные воспоминания, а ведь они еще невесомей наших снов. Божества, восседая на позолоченных скамьях, глядели вниз с потолка, улыбающиеся и неумолимые, как летнее небо. Они почитали себя вечными: бомба, сфабрикованная в Питтсбурге,

штат Пенсильвания, должна была в тысяча девятьсот сорок третьем доказать им обратное.

— Прекрасно, князь, прекрасно! При нынешних ценах на чистое золото таких вещей не делают! — Седара пристроился рядом с ним; его живые, бесчувственные к красоте и столь внимательные к денежной стоимости глаза бегали по залу.

Внезапно дон Фабрицио почувствовал, что ненавидит его; возвышение этого человека и ста подобных ему, темные их интриги, упорная скупость и алчность — вот причина того ощущения смерти, от которого сейчас столь явно мрачнеют эти дворцы; Седара и ему подобным, их злобе, их чувству приниженности, их неудавшемуся расцвету обязан он тем, что сейчас и ему, дону Фабрицио, черные фраки танцующих напоминают кружащееся воронье, которое выискивает падаль в затерянных лощинах. Ему захотелось ответить злобно, попросить его не путаться под ногами. Нельзя: он гость, он отец дорогой Анджелики. Быть может, и он несчастен, как другие.

— Прекрасно, дон Калоджеро, прекрасно. Но все превзошли наши дети.

В эту минуту мимо проскользнули Танкреди с Анджеликой; его правая рука в перчатке обвивала ее стан, вытянутые руки переплетались, глаза были жадно устремлены друг на друга. Его черный фрак и ее розовое платье, смешавшись в танце, походили на причудливую драгоценность. Юные влюбленные, танцевавшие вдвоем, слепые к взаимным недостаткам, глухие к предостережениям судьбы, поверившие, что весь их жизненный путь будет гладок, как паркет салона, походили на невежественных актеров, которых режиссер заставил играть Ромео и Джульетту, утаив от них склеп и яд, уже предусмотренные ролью. Оба они являли собой картину, как нельзя более патетическую. Ни он, ни она не были добры, у обоих были свои расчеты и тайные цели, но теперь, когда их наивное, не совсем чистое тщеславие прикрывалось нежными словами, которые он нашептывал ей на ухо, запахом ее волос, взаимным влечением этих тел, которым тоже предназначено умереть, оба они были дороги растроганному князю.

Молодая пара удалялась; ее сменяли другие, не столь красивые, но все же трогательные, также погруженные в свое преходящее ослепление.

Сердце дона Фабрицио смягчилось: отвращение сменилось состраданием к этим причудливым существам, которые стремились насладиться слабым лучом света, пробивавшимся между мраком родовых схваток и тьмой

предсмертных конвульсий. Как можно негодовать против тех, кому безусловно суждено умереть? Ведь это значит поступать, как торговки рыбой, которые лет шестьдесят тому назад осыпали оскорблениями приговорённых к казни на рыночной площади.

И обезьянки, рассевшиеся на пуфах, и эти старые олухи, считавшиеся его друзьями, — все они достойны сожаления, их нельзя спасти, и все они дороги его сердцу, как скот, который мычит в ночи, когда его волокут по улицам на бойню; настанет день, и до слуха каждого из этих людей донесется звон того колокольчика, который он слышал три часа тому назад за собором св. Доменико. Нет, позволительно ненавидеть лишь одну вечность.

И еще надо помнить, что все эти люди, собравшиеся в гостиных, все эти некрасивые женщины, все эти недалекие мужчины, представители обоих ослепленных тщеславием полов, были плоть от плоти, кровь от крови его; лишь с ними он понимал себя, лишь с ними чувствовал себя свободно.

«Может быть, я умнее их; несомненно, образованней, но мы одним миром мазаны; я должен быть связан с ними».

Он обратил внимание на то, что дон Калоджеро заговорил с Джованни Финале о возможном повышении цен на овечьи сыры; в надежде на сей благодатный случай в маслянистых глазках появилось выражение кротости. Теперь его можно покинуть без угрызений совести.

До этой минуты все возраставшее раздражение придавало ему силы; теперь с разрядкой пришла усталость, — было уже два часа ночи. Он искал место, где можно было посидеть спокойно, вдали от людей, которых любил, как братьев, но которые тем не менее ему наскучили. Он вскоре нашел его в маленькой, тихой, хорошо освещенной и пустой библиотеке.

Он посидел там, затем встал, чтоб выпить воды из графина на столике.

«Одна лишь вода по-настоящему хороша», — подумал он, как подлинный сицилиец, и даже не обтер капель, оставшихся на губах. Снова уселся; библиотека нравилась ему, он скоро почувствовал себя здесь уютно: как все плохо обжитые комнаты, она была безличной и не противилась тому, что он повел себя здесь как хозяин. Понтелеоне, разумеется, не такой человек, чтобы тратить здесь попусту время.

Князь принялся разглядывать висевшую перед ним картину, отличную копию «Смерти праведника» Греуза; старец умирал у себя в постели,

среди пустых пышных складок белоснежного белья, окруженный убитыми горем внуками и внучками, поднимавшими руки к потолку. Девушки были изящны и бесстыдны, беспорядок их одежд свидетельствовал скорее о легкомысленности поведения, чем о горе; было ясно, что именно они являли собой подлинный сюжет картины. И все же дон Фабрицио с минуту удивлялся тому, что Дьего соглашался постоянно иметь перед глазами это печальное зрелище. Затем он успокоился, подумав, что тот в лучшем случае бывает здесь не чаще одного раза в год.

Тотчас же вслед за этим он спросил себя, будет ли его собственная смерть походить на эту. Наверняка будет; разве что белье окажется менее безупречным, он-то знал, простыни умирающих всегда грязны — запачканы слюной, испражнениями, пятнами от лекарств; да еще, надо надеяться, Кончетта, Катерина и другие оденутся приличней. Но в остальном все будет как здесь.

Как всегда, мысль о собственной смерти успокоила его, меж тем как мысль о смерти других его всегда волновала — может, оттого, что, как там ни верти, своя смерть означала конец всего на свете.

Теперь он подумал, что склеп в монастыре капуцинов, где похоронены родители, нуждается в ремонте. Жаль, что уже не разрешают подвешивать покойников за шею в склепе, чтобы затем наблюдать, как они медленно превращаются в мумии. Он, пожалуй, неплохо выглядел бы на этой стене; такой большой и длинный, он пугал бы девушек своей застывшей улыбкой на лице пергаментного цвета, своими длиннющими брюками из белого пике. Ну нет, его обрядят в парадный костюм, быть может, в этот же фрак, что на нем сейчас…

Дверь открылась.

— Дядюшка, до чего ты сегодня красив! Черный костюм так тебе к лицу. Но что ты здесь разглядываешь? Решил поухаживать за смертью?

Танкреди держал Анджелику под руку: оба еще не освободились от чувственного увлечения танцем и казались усталыми. Анджелика села, попросила у Танкреди платок, чтоб обтереть виски; дон Фабрицио протянул ей свой. Молодые люди поглядели на картину с полнейшей беспечностью. Для обоих знакомство со смертью было чисто умозрительным, оно, так сказать, входило в круг их понятий, и только; оно не было опытом, проникшим до мозга костей. Да, смерть, она существовала бесспорно, но для других. Дон Фабрицио подумал, что

полное неведение этого высшего утешения заставляет молодежь острей стариков переживать горе: старикам ближе к запасному выходу.

— Князь, — сказала Анджелика, — мы узнали, что вы здесь, и пришли сюда не только отдохнуть, но и попросить вас кое о чем; надеюсь, вы мне не откажете.

Её глаза так и искрились лукавством, рука легла на манжет князя.

— Я хотела просить вас танцевать со мной следующую мазурку. Скажите «да», не будьте букой. Все знают, что вы были чудесным танцором. Князь пришел в полнейший восторг, он даже возгордился. Какой там еще склеп у капуцинов! Его щеки вздрагивали от радостного чувства. Однако мысль о мазурке немного пугала; этот танец военных, весь из притоптываний в круженья, ему не под силу. Разве не удовольствие стать на колени перед Анджеликой, но что, если ему потом трудно будет подняться?

— Спасибо, дочь моя, ты меня молодишь. Счастлив повиноваться; танцую, но только не мазурку, нет, предоставь мне первый вальс.

— Видишь, Танкреди, какой дядя добрый? Не капризничает, как ты. Знаете, князь, он не хотел, чтоб я вас об этом просила, — ревнует.

Танкреди засмеялся.

— Когда у тебя такой изящный и красивый дядя, можно быть ревнивцем. Впрочем, на этот раз я не буду противиться.

Теперь смеялись все трое, и дон Фабрицио не понимал: что это, заговор, чтобы доставить ему удовольствие, или просто попытка над ним подшутить? Впрочем, неважно, все равно они — милы.

Выходя из комнаты, Анджелика пальцем коснулась штофа на кресле.

— Хорош, красивый цвет; но в вашем доме, князь…

Корабль продолжал двигаться по инерции. Танкреди вмешался.

— Хватит, Анджелика. Мы оба тебя любим независимо от твоих познаний в мебели. Оставь кресла в покое и пошли танцевать.

Направляясь в зал для танцев, дон Фабрицио заметил, что Седара еще беседовал с Джованни Финале. «Русселла», «приминтио», «марцолино» — доносились до него наименования сортов посевного зерна, достоинства которых сопоставлялись. Князь предвкушал неизбежность приглашения в Маргероссу — поместье, из-за которого Финале разорялся, стремясь завести в нем агрономические новшества.

Анджелика с доном Фабрицио были великолепной парой. Огромные ноги князя передвигались с потрясающей осторожностью, ни разу опасность не угрожала атласным туфелькам его дамы. Его лапища с мужественной твердостью лежала на ее талии, подбородок касался волны ее волос. От шеи Анджелики шел аромат духов «буке а ля марешаль», но еще сильнее было благоухание ее гладкой молодой кожи. В памяти князя всплыла фраза Тумео: «Райским должен быть запах ее простынь». Фраза непристойная, грубая фраза, но сказано точно. Этот Танкреди…

Анджелика без умолку говорила. Ее прирожденное тщеславие, ее упорное честолюбие получили удовлетворение.

— Я так счастлива, дядюшка. Все были так милы, так добры. Танкреди — просто прелесть, и вы тоже прелесть. Всем этим я и Танкреди обязаны вам. Уж я-то знаю, чем бы все кончилось, если бы вы не захотели.

— Я здесь ни при чем, дочь моя, ты всем обязана одной себе.

Это правда, никакой Танкреди не устоял бы перед ее красотой в соединении с богатством. Он женился бы на ней, сломив все преграды. Внезапно больно кольнуло в сердце: князь подумал о печальных гордых глазах Кончетты. Но боль продолжалась недолго, с каждым кругом вальса с плеч его спадал год; вскоре он вновь почувствовал себя, как в двадцать лет, когда в этом же зале танцевал со Стеллой, когда еще не знал, что такое разочарование, скука, усталость. В ту ночь смерть на одно мгновение снова стала в его глазах чем-то имеющим отношение только «к другим».

Поглощенный своими воспоминаниями, так хорошо сочетавшимися с тем, что он теперь ощущал, князь не заметил, что сейчас танцевал с Анджеликой один. Другие пары, быть может, подстрекаемые Танкреди, остановились и глядели на них; тут же были и супруги Понтелеоне; они казались растроганными — пожилые люди, может быть, им все понятно, но Стелла ведь тоже не молода, она стоит у двери, взгляд ее все мрачнеет. Когда умолк оркестр, аплодисменты не прозвучали лишь оттого, что слишком уж гордый был у дона Фабрицио вид, чтобы кто-нибудь мог отважиться на подобную непристойность.

Когда кончился вальс, Анджелика предложила дону Фабрицио отужинать вместе с ней и Танкреди за одним столиком. Он был бы рад этому, но как раз в ту минуту на него нахлынули воспоминания молодости, и он представил себе, насколько скучен будет ужин со старым дядей, да еще

когда Стелла находится здесь же, в двух шагах. Влюбленные хотят быть наедине друг с другом или, на худой конец, в обществе посторонних, но с людьми пожилыми и, что всего тягостнее, с родственниками им и вовсе не интересно.

— Спасибо, Анджелика, у меня нет аппетита. Съем что-нибудь стоя. Иди с Танкреди, не думайте обо мне.

Он переждал с минуту, пока молодые люди не удалились, а затем и сам прошел в зал, где был буфет. В глубине стоял длинный узкий стол, освещенный знаменитыми двенадцатью канделябрами из позолоченного серебра, которые были подарены деду Дьего испанским двором по окончании его посольства в Мадриде; на высоких пьедесталах из сверкающего металла возвышались, чередуясь, шесть фигур атлетов и шесть женских фигур, которые держали над головами ствол из позолоченного серебра, вершину которого украшали языки двенадцати зажженных свечей. Искусный ювелир сумел тонко сочетать спокойную легкость юношей с изящной напряженностью девушек, удерживавших непомерную для них тяжесть двенадцати превосходных массивнейших канделябров.

«Кто знает, сколько сальмов земли можно было бы, за них приобрести», — сказал бы несчастный Седара.

Дон Фабрицио вспомнил, как однажды Дьего показал ему футляры для каждого из канделябров — покрышки из зеленого сафьяна, по краям которых красовались тисненные золотом тройной щит Понтелеоне и витые инициалы дарителей.

Под канделябрами, под горкой с пятью уступами, откуда к потолку вздымались пирамиды сластей, до которых никогда не доходил черед, простиралось монотонное изобилие «чайных столиков» большого бала — виднелись кораллового цвета омары, сваренные живьем; мягкое и вязкое «шофруа» из телятины; огромные стального цвета рыбины под легкими соусами; индейки, которых позолотил огонь; розовые жирные паштеты из печенки под желатиновой броней; очищенные от костей бекасы над холмами ароматных гренок, декорированных перемолотыми потрохами; золотистые желе и с десяток других столь же манящих и разукрашенных деликатесов. По краям стола возвышались две монументальные суповые миски из серебра с прозрачным бульоном цвета жженой смолы. Повара

больших кухонь замка, должно быть, в поте лица трудились с прошлой ночи.

«Сколько добра! Донна Маргерита умеет хорошо принять. Но для всего этого нужен не мой желудок».

Он пренебрег и столом с напитками, сверкавшим хрусталем и серебром, и сразу направился к буфету со сладким. Огромные бабы — под цвет рыжей конской масти, — заснеженные «монбланы» из взбитых сливок; пирожные «бонье дофин», белые от миндаля и зеленые от фисташек; горки шоколадных «профитролей», коричневых и жирных, как навоз в долине Катаньи, который, в сущности, их породил, предоставив затем пройти через длинный ряд превращений; темные «парфе», от которых, когда их отделяли лопаточкой, с хрустом отваливались слои; здесь же краснели цукаты из вишен, желтели кисловатые штемпели ананасов; обращали на себя внимание «триумф чревоугодия» с темно-зелеными молотыми фисташками я бесстыжее «пирожное девственницы».

Дон Фабрицио попросил положить себе именно это пирожное и теперь держал перед собой на тарелке кощунственное изображение святой Агаты, выставлявшей напоказ свою упругую грудь.

«Странно, что — инквизиция не додумалась запретить эти сладости, когда могла это сделать! Триумф чревоугодия! Чревоугодие — смертельный грех! Соски святой Агаты! И этим торгуют монастыри, это пожирают на праздниках. Ну и ну!»

Дон Фабрицио в поисках места бродил по залу, где пахло ванилью, вином, пудрой.

Танкреди, увидев его, хлопнул рукой но стулу и указал на свободное место; рядом с ним Анджелика пыталась в серебряном блюде разглядеть свою прическу.

Дон Фабрицио, улыбаясь, покачал головой в знак отказа и продолжал свои поиски. За одним из столиков раздавался самодовольный голос Паллавичино.

— Самая волнующая минута за всю мою жизнь…

Рядом с ним одно место было свободно. До чего же он назойлив. В конце концов, не предпочесть ли пусть, деланную, но ободряющую сердечность Анджелики и сухое острословие Танкреди? Нет, лучше скучать самому, чем нагонять скуку на других.

Он извинился, сел рядом с полковником, который встал при его приближении, чем снискал некоторую симпатию леопарда.

Дегустируя утонченную смесь бланманже, фисташек и корицы, из которой состояло выбранное им пирожное, дон Фабрицио беседовал с Паллавичине и убеждался, что тот, если не считать подслащенных фраз, вероятно предназначенных для дам, вовсе не дурак. Он тоже «синьор»: основательный скептицизм его класса, в обычное время задушенный безжалостным пламенем красного воротника берсальерского мундира, снова выставлял наружу кончик носа, когда он попадал в среду, близкую ему по рождению и далекую от неизбежной риторики казарм и поклонниц.

— Теперь левые хотят распять меня за то, что я тогда в августе приказал своим ребятам открыть огонь по Генералу. Но, скажите на милость, князь, как я мог поступить, имея при себе письменный приказ? Должен, однако, признаться: когда я там под Аспромонте увидел сотни этих оборванцев — одни с лицами неисправимых фанатиков, другие с мрачной физиономией профессиональных бунтовщиков, — то был счастлив, что этот приказ вполне соответствовал моим собственным мыслям. Если бы я не велел открыть огонь, эти люди превратили бы моих солдат и меня в отбивную котлету: правда, беда бы была невелика. Но это вызвало бы в конце концов французское и австрийское вмешательство, привело бы к беспрецедентному скандалу, от которого рухнуло бы итальянское королевство, созданное чудом и, кстати сказать, возникшее никто не знает как. И скажу вам доверительно: мои короткие залпы более всего пошли на пользу самому Гарибальди, они освободили его от приставшего к нему сброда, от всех этих личностей вроде Дзамбианки, которые пользовались им Бог весть для каких целей, может, даже великодушных, хоть и бесполезных, а может, и желанных для Тюильри и Палаццо Фарнезе (Тюильри и Палаццо Фарнезе — здесь правительство Франции и посольство Франции в. Риме); все эта люди так не похожи на тех, кто высадился с ним в Марсале; лучшие из них верили, что Италию можно создать серией авантюр в духе сорок восьмого года. Он, то есть Генерал, это знает: в момент моего знаменитого коленопреклонения он пожал мне руку с теплотой, которую я могу считать не совсем обычной по отношению к человеку, за пять минут до этого всадившему ему пулю в ногу. И знаете, что сказал мне тихим голосом этот единственно порядочный человек из тех, кто тогда находился по ту сторону злосчастной горы? «Спасибо, полковник», За что спасибо, спрашиваю я

вас? За то, что я его сделал хромым на всю жизнь? Разумеется, нет — за то, что я заставил его собственной рукой прикоснуться к фанфаронству или, что еще хуже, к подлости всех этих его сомнительных приверженцев.

— Простите меня, полковник, но вы не полагаете, что слегка хватили через край со всем этим лобзанием рук, поклонами и комплиментами?

— Откровенно говоря, думаю, что нет. Эти нежные чувства были искренни. Нужно было видеть, как лежал на земле под каштаном этот несчастный и великий человек, страдающий телом, а еще больше духом. Это была мука! Тут ясно сказывалась его природа ребенка; таким он был всегда; невзирая на бороду и морщины, он оставался наивным и опрометчивым мальчиком. Трудно было противиться волнению, которое мной овладело, когда я был вынужден сделать ему «бум-бум!». Впрочем, зачем мне было противиться? Руки я целую лишь женщинам, но и тогда, князь, я целовал руку цельности королевства — даме, которой мы, военные, должны оказывать почести.

Мимо прошмыгнул лакей; дон Фабрицио велел ему принести себе кусок торта «монблан» и бокал шампанского.

— А вы, полковник, ничего не хотите?

— Из еды ничего, спасибо. Может, выпью шампанского.

Затем он продолжал. Видно было, что он никак не может оторваться от этих воспоминаний о нескольких залпах и о целой коллекции всяких уловок; они принадлежали к числу тех, которые влекут к себе людей, подобных ему.

— Когда мои берсальеры разоружали людей Генерала, те ругались и проклинали. И знаете кого? Его же. Того, кто оказался единственным, заплатившим собой. Это подло, но естественно: они видели, как у них из рук ускользает этот похожий на ребенка, но великий человек, который один лишь мог прикрывать темные проделки многих из них. Если моя любезность и была излишней, я все равно доволен, что оказал ее. Здесь, у нас в Италии, никогда не повредит избыток сентиментов и поцелуев: это наиболее действенные из политических аргументов, которыми мы располагаем.

Он выпил принесенное ему вино, но, казалось, оно лишь усилило горечь его слов.

— Вы не были на континенте после основания королевства? Князь, вам просто повезло. Зрелище не из утешительных. Мы никогда не были так

разобщены, как теперь, когда объединились. Турин хочет остаться столицей, Милан находит, что наша администрация хуже австрийской, Флоренция боится, как бы из нее не вывезли произведения искусства, Неаполь жалуется, что у него отнимают промышленность, а здесь, в Сицилии, зреет большая, непоправимая беда… Пока, также благодаря заслугам и вашего покорного слуги, о красных рубахах более не говорят; но о них еще услышат. А когда исчезнут эти красные рубахи, появятся другие, уже иного цвета; а потом снова будут красные. Чем все это кончится?! Говорят, есть у Италии звезда (Пятиугольная звезда — эмблема Италии). Согласен. Но, князь, вы знаете лучше меня, что звезд действительно постоянных не бывает.

Теперь он пророчествовал, может быть, слегка выпив. От тревожных мыслей о будущем у дона Фабрицио сжалось сердце.

Бал продолжался еще долго; было уже шесть утра; все изнемогали от усталости и вот уже три часа, как мечтали лечь в постель; не уйти рано — значит показать, что бал не удался, и обидеть хозяев дома, — а они, бедняжки, так постарались.

Лица дам стали мертвенно-бледными, платья измялись, дамы дышали тяжело. «Мария! Как я устала!», «Мария! Как хочется спать!»

У мужчин в беспорядке галстуки, желтые лица в морщинах, во рту горькая слюна. Все чаще наведываются они в далекую комнату за галереей для оркестра: здесь в стройном порядке расположены двадцать больших урильников, теперь уж почти полных, некоторые даже переливаются через край. Видя, что бал подходит к концу, заспанные лакеи перестали менять свечи в люстрах; короткие огарки распространяют в гостиных странный, дымный, предвещающий беду свет.

В пустой буфетной одни порожние блюда и бокалы с остатками вина, которое, оглядываясь по сторонам, поспешно допивают лакеи. Плебейский свет зари проникает сквозь щели ставен.

Наступило время расходиться, и донну Маргериту окружила толпа прощающихся гостей.

— Великолепно!

— Мечта!

— По-старинному!

Танкреди пришлось немало потрудиться, пока он разбудил дона Калоджеро, уснувшего в отдаленном кресле, откинув назад голову; брюки его при этом поднялись до колен, а над шелковыми носками виднелись края кальсон, какие носят в деревне.

У полковника Паллавичино тоже появились мешки под глазами, но тем, кто желал его слушать, он заявлял, что домой не пойдет, а прямо из замка Понтелеоне отправится на плац для учений; к этому его призывала железная традиция, велениям которой следовали приглашенные, на бал офицеры.

Когда вся семья уселась в коляску (подушки отсырели от росы), дон Фабрицио сказал, что вернется домой пешкам; ему полезно немного подышать свежим воздухом и рассеять легкую головную боль. Но совести говоря, ему хотелось, глядя на звезды, вернуть себе немного покоя.

В самом зените еще мерцали звезды. Как всегда, глядя на них, он ощутил бодрость: далекие и всемогущие, они в то же время были покорны его расчетам — в противоположность людям, всегда слишком близким, слабым и все же таким непокорным.

На улицах понемногу начиналось движение: проезжали возы с горами мусора, вчетверо превышавшими рост тащившего их серого ослика. На длинной открытой повозке были свалены волы, только что заколотые на бойнях; уже разделанные, они с бесстыдством смерти выставляли напоказ свои обезображенные туши. На мостовую через равные промежутки падали густые красные капли.

Войдя в боковую улочку, дон Фабрицио взглянул на восточную часть неба над морем. Там была Венера, окутанная тюрбаном осенних испарений. Она всегда верна, всегда поджидает дона Фабрицио — в Доннафугате до охоты и теперь в Палермо после бала.

Дон Фабрицио вздохнул. Когда же она решится назначить ему менее призрачное свидание, вдали от мусора и крови, в своем царстве вечной уверенности?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Смерть князя

Июль 1883

Это ощущение уже давно знакомо дону Фабрицио. Вот уже много лет он чувствовал, как его постепенно, но неотступно покидали жизненные силы — сама способность существовать, сама жизнь уходила, подобно песчинкам, которые теснятся у узкого отверстия песочных часов и затем падают туда одна за другой, не торопясь, но и не останавливаясь ни на миг. Порой в минуты напряженной, требующей пристального внимания деятельности исчезало это ощущение постепенного угасания, чтобы затем при первой же передышке или попытке заглянуть внутрь себя снова возникнуть с прежней назойливостью: так бывает, когда в полной тишине вдруг раздается звон в ушах или стук маятника, желающего убедить вас, что он на страже, даже если его и не слышно.

В иные минуты дону Фабрицио достаточно было лишь немного сосредоточиться, чтоб ощутить шорох этих легко ускользавших песчинок — мельчайших отрезков времени, которое уходило от него навсегда. Впрочем, поначалу это ощущение вовсе не было связано с плохим самочувствием. Более того, неосязаемая утрата жизненности была доказательством и даже, если так можно сказать, условием самого существования.

Для него, человека, привыкшего исследовать беспредельные внешние просторы и сокровеннейшие глубины духа, не было ничего неприятного в этом ощущении постоянного распада мельчайших частиц собственной личности и в то же время смутного предвкушения ее воссоздания в ином месте, где она (возблагодарим Господа) будет обладать менее осознанным, но более свободным существованием. Песчинки не пропадали, они лишь исчезали, чтоб затем сосредоточиться где-то, образовав плотную массу. Впрочем, подумал он, масса весома, масса — это не то слово, да и песчинки тоже не то. Не песчинки — скорей частицы водянистого пара, испарения пруда без стока, которые, подымаясь к небу, скоплялись в большие, легкие облака. Порой он удивлялся, что после стольких лет и стольких потерь в его водохранилище еще могло что-то сохраниться. («Верно, оно глубиной с целую пирамиду!»)

Однажды он с гордостью подумал, что, кроме него, почти никто не обнаруживает этого непрестанного бега времени; вокруг него никто, казалось, не ощущал ничего подобного. В этом князь находил повод, позволявший ему презирать всех прочих, подобно тому как старый солдат презирает новобранца, принимающего за безобидных мух пули, которые

свистят вокруг. Трудно сказать отчего, но в таких вещах не признаются — пусть другие догадываются сами; из его близких не догадался никто: ни дочери, представлявшие себе загробный мир как нечто вполне тождественное жизни, считавшие, что и по ту сторону существуют суды, повара, монастыри; ни Стелла, пожираемая язвой диабета и все же упорно цеплявшаяся за это мученическое существование.

Быть может, лишь Танкреди понял его на мгновение, когда с упрямой иронией сказал: «Ты, дядюшка, ухаживаешь за смертью».

Теперь ухаживанию пришел конец: красавица сказала свое «да», побег был делом решенным, в поезде для неге оставлено купе.

Теперь дела обстоят совсем по-иному. Сидя сейчас в кресле, на балконе отеля Тринакриа, вытянув длинные ноги, укутанные одеялом, он чувствовал, как жизнь покидает его большими, набегающими друг на друга волнами, с грохотом, подобным шуму рейнского водопада. То были полуденные часы последнего понедельника июля, и перед ним простиралась палермская бухта; море, плотное, маслянистое, ленивое, застывшее в неподвижности, вытянулось, как пес, который хочет стать невидимкой, чтоб укрыться от хозяйского гнева; но солнце, столь же недвижно стоявшее прямо над морем на своих широко расставленных ногах, нещадно хлестало его своими лучами. Ни звука вокруг — в этот палящий полдень дон Фабрицио слышал лишь шум рвавшейся наружу, покидавшей его жизни.

Утром, всего несколько часов тому назад, он прибыл из Неаполя, куда отправился за советом к профессору Семмола. В сопровождении своей сорокалетней дочери Кончетты и внука Фабрициетто он предпринял эту поездку, мрачную и медлительную, как похоронное шествие. Сутолока в порту Неаполя, кислый запах каюты, непрестанные крики в этом бредовом городе вызвали в нем то чувство жалкого ожесточения, которое овладевает слабыми людьми, гнетет их и клонит к земле, вызывая лишь ответное раздражение у прочих добрых христиан, рассчитывающих на собственное долголетие.

Из Неаполя он пожелал возвращаться сушей; врач возражал против неожиданного решения, но тень его престижа была еще столь внушительна, что он сумел настоять на своем. В результате он вынужден был тридцать шесть часов провести взаперти в раскаленней коробке, задыхаясь от дыма в туннелях, которые чередовались, как лихорадочные сны, слепнуть от солнца на открытых местах, где перед ним во всей своей

обнаженности представала печальная действительность, и вдобавок еще унижаться, без конца обращаясь к напуганному внуку за самыми низменными услугами. Они проезжали мимо прокаженных мест, забирались на проклятые горные перевалы; пересекали онемевшие малярийные долины; эти картины Калабрии и Базиликаты казались ему варварскими, хотя они мало чем отличались от виденных им у себя в Сицилии.

Железная дорога еще не была закончена: у Реджо она круто сворачивала к Метапонте, проходила по некоему подобию лунных пустынь, которые лишь в насмешку носили название Кротоне и Сибари. (Города в Италии, которые в глубокой древности вели между собой борьбу) Затем сразу же после лживой улыбки пролива — Мессина и, словно уличавшие ее во лжи, выжженные холмы Пелоритано; и снова поворот, долгий, как жестокая процедурная задержка. К Катанье — спуск, и опять подъем к Кастроджованни; казалось, что едва дышавший от натуги паровоз, взбираясь на эти легендарные холмы, подохнет, как перетруженная лошадь.

Наконец после нового шумного спуска прибыли в Палермо. При встрече все те же маски родных с нарисованной на лицах довольной улыбкой по случаю удачного исхода поездки. Эти ободряющие улыбки ждавших его на вокзале родных и неумелее притворство, с которым они напустила на себя веселый вид, открыли подлинное значение диагноза Семмола, который ему самому сказал лишь одни успокоительные фразы. Грохот водопада раздался именно в ту минуту, когда он, выйдя из поезда, обнимал невестку, облаченную во вдовий траур, детей, обнажавших зубы я улыбке, Танкреди, глядевшего озабоченно, и Анджелику, высокую грудь которой тесно облегал шелк блузки.

Должно быть, он потерял сознание, потому что не помнит, как добрался до коляски; очнувшись, он увидел, что лежит, поджав под себя ноги, и подле него один лишь Танкреди. Коляска еще не тронулась с места, и до него долетали обрывки разговора родных: «Это ничего», «Поездка была слишком долгой», «От такой жары у нас, пожалуй, у всех будет обморок», «Его чересчур утомит переезд на виллу».

Теперь к нему снова вернулась полная ясность: он обратил внимание на серьезность разговора между Кончеттой и Франческо Паоло и на элегантность Танкреди, на его костюм в каштаново-серую клетку, на его коричневую шляпу с твердыми полями. Он даже заметил, что на минуту

улыбка племянника стала не столь насмешлива, как обычно, и говорила о грустной привязанности. У него самого это вызвало кисло-сладкое ощущение: племянник любит его и вместе с тем знает о его обреченности, вот почему утонченная ирония уступила место нежности. Коляска тронулась и свернула направо.

— Куда же мы едем, Танкреди? — Его удивил звук собственного голоса, он почувствовал в нем отражение внутреннего гула.

— Едем в отель Тринакриа, дядюшка; ты устал, а вилла далеко, ночью отдохнешь в гостинице, а завтра домой. Не правда ли, так будет лучше?

— Тогда поедем в наш дом у моря: он ещё ближе. Однако это оказалось невозможным: дом, как он хорошо знал, не был оборудован и служил лишь для случайных обедов на взморье. Там не было даже кровати.

— В гостинице, дядя, тебе будет удобней, там все к твоим услугам.

С ним обращались, как с новорожденным, впрочем, и сил у него было не больше, чем у новорожденного.

Первым удобством, которое ожидало его в гостинице, был врач; за ним, должно быть, послали еще во время обморока. Но это был не доктор Каталиотти, который лечил его всегда; тот носил белый галстук, очки в богатой золотой оправе и всегда улыбался, а этот — бедняга! — был врачом густонаселенного квартала, бессильным свидетелем агоний многих тысяч бедняков. Поношенный рединготт, бледное худое лицо, взъерошенные седые волосы, разочарованный взгляд голодающего интеллигента; когда он вытащил из кармана часы без цепочки, можно было разглядеть зеленые пятна меди, пробившиеся сквозь недолговечную позолоту. Он и сам был всего лишь несчастным бурдюком, разодранным во время крутого поворота на горной тропе, не замечавшим, как из него вытекали последние капли оливкового масла.

Врач проверил пульс, прописал капли камфары, обнажил свои кариозные зубы в улыбке, которая должна была успокаивать, а на самом деле вызывала лишь жалость, и ушел, бесшумно ступая.

Вскоре из соседней аптеки прибыли капли; от них дону Фабрицио стало лучше, слабость уменьшилась; но бег ускользавшего времени был столь же порывист.

Дон Фабрицио взглянул на себя в зеркало; он скорее узнал свой костюм, чем самого себя: длинноногий, исхудалый старик, впалые щеки, трехдневная борода — он походил на одного из тех английских маньяков,

что кочуют по обложкам книг Жюля Верна, которые он дарил к рождеству Фабрициетто. Леопард в самом худшем виде. Почему Господь Бог не желает, чтобы хоть кто-нибудь умер, сохранив свой прежний облик? Почему так случается со всеми: люди умирают с маской на лице; так бывает и с молодыми — тот солдат с лицом в крови и грязи, и Паоло тоже — люди бежали по пыльной улице, чтоб догнать коня, который сбросил его на ходу, а Паоло лежал на мостовой с искаженным, разбитым лицом.

Если шум ускользающей жизни так силён в нем, старике, то каков же должен быть грохот, с которым в одно мгновение опустошаются наполненные до краев хранилища молодого тела? Он хотел бы хоть как-то восстать против этого нелепого и принудительного камуфляжа, но чувствовал — ему не под силу; поднять бритву ему теперь так же трудно, как в прежнее время собственный письменный стол.

— Нужно позвать парикмахера, — сказал он Франческо Паоло, но тотчас же раздумал: «Это правило игры, неприятное, но строго формальное. Меня побреют потом». И громко сказал: — Оставь, об этом подумаем позже.

Мысль об одиноком трупе, над которым склонился парикмахер, его не смутила.

Вошел лакей с тазом теплой воды и губкой, сиял с него куртку и сорочку; он мыл его лицо и руки, как моют ребенка, как обмывают покойника. От грязи, накопившейся почти за двое суток езды, вода стала черной.

В комнате с низкими потолками можно было задохнуться; от жары даже запахи пришли в брожение; пыль из плохо выбитой плюшевой мебели подымалась кверху, десятки раздавленных и погребенных в ней тараканов напоминали о себе своим лекарственным запахом; терпкое зловоние шло по комнате от ночного столика.

Князь велел раздвинуть шторы; гостиница стояла в тени, и теперь отраженный свет стальной глади моря слепил глаза; все же это лучше, чем терпеть тюремную вонь. Он велел вынести кресло на балкон и затем, опираясь на чью-то руку, выбрался наружу; прошел метра два и сел в кресло с чувством облегчения, какое испытывал некогда, отдыхая после четырехчасовой охоты в горах.

— Скажи всем, чтоб меня вставили в покое; мне лучше, я хочу вздремнуть.

Ему действительно хотелось спать; но он нашел, что поддаться этому желанию сейчас столь же абсурдно, как есть торт за несколько минут до званого обеда. И улыбнулся. «Я всегда был предусмотрительным чревоугодником». Он сидел в кресле; вокруг царила глубокая тишина; нараставший внутренний гул становился все слышнее.

Он смог повернуть голову налево: у горы Пеллегрино кольцо вершин расступалось и сквозь прогалину видны были те два холма, у подножия которых стоял его дом. Теперь дом был недостижим и казался очень далеким. Он вспомнил о своей обсерватории, о телескопах, которые теперь на многие десятилетия покроются пылью; о бедном падре Пирроне, который и сам стал почти прахом; о картинах, изображавших его поместья, о гобеленах с обезьянками; о большой медной кровати, на которой скончалась его Стеллучча; обо всех вещах, память о которых теперь казалась ему ничтожной, хотя и дорогой. Он припоминал все мелочи: разные металлические детали, сплетение нитей в тканях, полотна, полоски земли, сквозь которую пробивались сочные травы, — все то, о чем он заботился при жизни. Скоро эти ни в чем не повинные вещи будут замурованы в склепе заброшенности и забвения. Сердце сжималось от боли при мысли о неизбежном конце всех этих ничтожных, но дорогих ему предметов, и он забывал даже о собственной агонии. Сплошной ряд домов, возвышавшихся за его свиной, преграда из гор, истомленные лучами беспощадного солнца просторы не позволяли ему представить себе Доннафугату. Теперь она казалась чем-то увиденным во сне, чем-то уже ему не принадлежащим: сейчас ему принадлежало лишь это измученное тело, лишь этот цементный пол под ногами, лишь грохот устремляющихся в пропасть черных вод. Он был один на тонущей после кораблекрушения лодке, ставшей добычей неукротимых потоков.

Были у него сыновья. Да, да, сыновья. Уж нет в живых Джованни, единственного, кто походил на него. Раз в два года он присылал привет из Лондона; он больше не занимался углем и торговал бриллиантами; после смерти Стеллы на ее имя пришло небольшое письмо, а вскоре вслед за ним и пакетик с браслетом. Да, это был его сын. Ведь он тоже «ухаживал за смертью»: забросив все, он обеспечил себя той частицей смерти, какой можно обладать, еще продолжая жить. Ну, а другие… Были внуки: Фабрициетто, самый младшей в роду Салина, такой красивый, живой, такой милый…

И такой ненавистный: двойная доза крови Мальвика, инстинкт прожигателя жизни, стремление к буржуазной элегантности. Нет, незачем

себя обманывать, последним в роду Салина был он сам — жалкий гигант, лежавший в агонии на балконе гостиницы. Значение знатного рода заключено в традиции, то есть в жизненных воспоминаниях, а он последний в этом роду обладал необычными воспоминаниями, непохожими на те, которые хранит память других семейств.

Фабрициетто будет вспоминать лишь о банальных вещах, как и его товарищи по гимназии: о недорогих завтраках, злых шутках над учителями, о лошадях, купленных не за их достоинства, а лишь потому, что дешево; значение знатного имени станет пустым украшением, отравленным горечью при мысли, что другие окажутся способны на большую помпезность. А потом — погоня за богатой невестой, что к тому времени станет в порядке вещей; не то что у Танкреди, который отважился на смелую охоту. Гобеленам Доннафугаты, миндальным рощам Рагаттизи, а может, и фонтану Амфитриты уготована причудливая судьба: они превратятся в пожираемые паштеты из печенки, они украсят женщин, которые сойдут со сцены скорее, чем сотрется помада с их губ. Вот судьба, ожидающая все старинные и потускневшие предметы.

Останется лишь воспоминание о старике с холерическим темпераментом, о деде, умершем в июльский полдень, достаточно заблаговременно, чтобы не помешать мальчику отправиться на купания в Ливорно. Он говорил, что Салина всегда останутся Салина. Он был неправ. Последний Салина — он сам. Этот Гарибальди, этот бородатый Вулкан в конце концов победил.

Из ближней комнаты через открытую на балкон дверь до него донесся голос Кончетты:

— Без этого нельзя; нужно было его позвать; я бы никогда не нашла покоя, если 6 его не позвали.

Князь тотчас же понял: речь шла о священнике. На какое-то мгновение решил отказаться, лгать, закричать: мне совсем хорошо, ничего мне не нужно. Однако тотчас же убедился, насколько все это смешно: он ведь князь Салина и, как князь Салина, должен умереть, имея рядом хоть какого-нибудь священника. Кончетта права. Почему он должен отказываться от того, к чему тысячи других людей стремились перед смертью? Он молчал, ожидая, когда раздастся звон колокольчика, извещающего о последнем причастии. Вскоре он услышал его — храм Милосердия был почти напротив. Серебристое, праздничное звучание поднималось по ступеням лестницы, вторгалось в коридор; вот открылась дверь, и звук колокольчика стал резким; следуя за управляющим

гостиницей, маленьким швейцарцем, до нельзя рассерженным, что у него в отеле умирающий, в комнату вошел отец Бальзамо — приходский священник, несший дароносицу в кожаном футляре, а в ней святые дары.

Танкреди и Фабрициетто подняли кресло и внесли князя в комнату. Все стояли на коленях. Скорей бессильным движением руки, чем голосом, он попросил их выйти. Хотел исповедаться. Уж делать, так делать как полагается.

Все вышли. Когда же пришлось говорить, князь понял, что сказать нужно не так уж много: припоминались некоторые безусловные грехи, но они казались столь мелкими, что не стоило ради них тревожить в такую жару достойного священника. Не то чтобы князь чувствовал себя совсем безгрешным, нет, он был виноват, вся его жизнь была сплошной виной, а не тот или иной поступок, но сейчас уже поздно об этом говорить. В глазах у него появилось волнение, которое священник принял за выражение раскаяния; так оно в известном смысле и было. Он получил отпущение грехов; в ту минуту его подбородок почти касался груди, и священнику пришлось стать на колени, чтоб положить в его рот облатку. Шепотом прозвучали памятные, приготовляющие в далекий путь слова, и священник удалился.

Кресло уже не стали выносить на балкон. Фабрициетто и Танкреди сели подле князя; мальчик пристально глядел на деда, в глазах у него было любопытство, естественное для того, кто впервые видит агонию, и ничего больше. Умирающий был уже не человеком, а только дедом.

Танкреди с силой сжимал его руку и говорил; он говорил много, говорил весело: строил планы, в осуществлении которых должен был принять участие и дядя; комментировал политические события; Танкреди был депутатом, ему обещан пост посла в Лиссабоне. Он знал немало тайных и забавных историй. Говорил он, как всегда, чуточку в нос; его остроумие звучало как легкомысленный вызов все усиливающемуся грохоту ускользавшей жизни. Князь был признателен за болтовню; он собрал все свои силы, чтобы пожать руку Танкреди, однако сделать этого не мог. Да, он был признателен за болтовню, но не слушал ее. Он подводил последний итог своей жизни — хотел извлечь из покрывшего прошлое пепла золотые соломинки счастливых часов. Вот они: две недели до свадьбы, шесть недель после нее; полчаса по случаю рождения Паоло, когда он испытывал гордость оттого, что добавил веточку к древу рода Салина (теперь он знал: гордость была напрасной, но в те минуты он

искренне верил в это); несколько бесед с Джованни перед тем, как тот исчез (по правде говоря, то были монологи, произнесенные в минуты, когда ему казалось, что он открывает в мальчике душу, подобную своей); многие часы, проведенные в обсерватории, где он погружался в абстрактные выкладки и гнался за недостижимым. Но можно ли эти часы завести в актив жизни? Не являлись ли они щедрым даром в ожидании посмертного блаженства? Неважно, все равно они были.

Внизу, на улице, отделявшей гостиницу от моря, появился, человек с шарманкой и заиграл в жадном надежде растрогать иностранцев, которых не было в это время года. Шарманка перемалывала арию «Ты, к Богу летящий на крыльях».

Собрав последние остатки сил, дон Фабрицио подумал, сколько желчи в эту минуту примешано к агонии по всей Италии у тех, кто слышит эту механическую музыку. Танкреди со свойственной ему догадливостью выбежал на балкон, бросил вниз монету и сделал знак, чтоб прекратили. Снаружи восстановилась тишина, но грохот внутри все нарастал.

Танкреди. Конечно, многим в своей жизни он обязан Танкреди; его несколько ироническая способность во всем разобраться, столь дорогая князю, его умение ловко пробиваться через все трудности жизни, доставлявшее князю эстетическое наслаждение; его привязанность, которая, как и долженствует, сопровождается насмешкой. Затем собаки: Фуфи — жирный мопс, друг его детства, Том — неспокойный барбос, доверчивый и дружелюбный, кроткие глаза Резвого, восхитительные шалости Бендико, ласковые лапы Попа — пойнтера, который сейчас, наверное, ищет его под кустами и креслами виллы и уж больше никогда не найдет; да еще несколько лошадей, но к ним он не чувствовал такой привязанности.

И еще любил он первые часы после возвращения в Доннафугату: ощущение традиции и вечности, воплощенное в камне и в водах, словно остановившийся бег времени; иногда веселые выстрелы на охоте, удачно подстреленные зайцы и куропатки; шутки наедине с Тумео, несколько минут покаяния в монастыре, где пахло плесенью я печеньем.

Было ли еще что-нибудь? Да, было, но то уже золотые зерна вперемешку с песком. Удовлетворение после острого ответа дуракам; удовольствие, испытанное, когда он обнаружил, что в красоте и нраве Кончетты сказываются подлинные черты рода Салина; любовные увлечения; неожиданная радость, испытанная, когда он получил письма от Араго,

который внезапно поздравил его но случаю точных и трудных вычислений пути кометы Гексли. А почему бы и нет? Публичные похвалы при вручении медали в Сорбонне; нежность тончайшего шелка его галстуков, приятный запах его кожаных вещей; и еще смеющиеся, полные страсти лица женщин, которые иной раз ему попадались на улице; ну, вот хотя бы эта, вчера на вокзале в Катанье, она быстро смешалась с толпой. На ней был дорожный тёмный костюм и замшевые перчатки; казалось, она хотела взглянуть на его изможденное лицо, выглянувшее из грязного купе. Как суетилась толпа! «Бутерброды!», «Читайте „Коррьера делл изола!“» И потом этот бестолковый шум уставшего поезда, которому не хватало дыхания… А дома — беспощадно жестокое солнце, лживые лица и воды, прорвавшие шлюзы…

В наступавших сумерках он принялся подсчитывать, сколько же времени прожил по-настоящему. Его мозг уже не справлялся с простейшими вычислениями: три месяца, двадцать дней, всего шесть месяцев, шестью восемь… восемьдесят четыре… сорок восемь тысяч… восемьсот сорок тысяч. Он наконец справился. «Мне семьдесят три года, по грубым подсчетам, я жил, по-настоящему жил, два-три года, не больше». Сколько же длились страдания и скука? Бесполезно считать: все остальное — семьдесят лет!

Он почувствовал, что его рука более не сжимает руки племянника, Танкреди быстро встал и вышел… Теперь уже не поток, уже не река рвалась наружу, а бурный океан, весь в пене и обезумевших волнах…

Должно быть, он снова потерял сознание и затем вдруг обнаружил, что лежит на кровати. Кто-то держал руку на его пульсе. Беспощадное отражение моря в окне слепило ему глаза; по комнате разносились свистящие звуки, то был его хрип, но он не знал об этом. Вокруг собралась небольшая толпа, кучка каких-то посторонних людей, которые глядели на него испуганно и пристально.

Понемногу он стал узнавать: Кончетта, Франческо Паоло, Каролина, Танкреди, Фабрициетто. Руку на пульсе держал доктор Каталиотти. Он думал, что встретил его улыбкой, но этой улыбки никто не заметил: все, кроме Кончетты, плакали; плакал и Танкреди: «Дядя, дорогой дядюшка!»

Вдруг, пробивая себе дорогу через эту кучку людей, показалась молодая стройная дама в дорожном костюме каштанового цвета с широким турнюром, в соломенной шляпе с вуалью, не скрывавшей лукавой привлекательности ее лица. Ручкой в замшевой перчатке она расталкивала

плачущих и с извинениями приближалась к постели умирающего. То была она, то было всегда желанное ему существо, наконец пришедшее за ним; странно только, что она такая молодая, должно быть, поезд скоро отойдет. Когда они уже стояли лицом к лицу, она приподняла вуаль; целомудренная, но готовая отдаться, она показалась ему еще прекрасней, чем в те минуты, когда он вглядывался в ее лицо сквозь звездные просторы.

Грохот океана замолк навсегда.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Визит монсеньера викария. — Картина и реликвии. — Комната Кончетты. — Визит Анджелики и сенатора Тассони. — Кардинал. — Конец реликвий. — Конец всему.

Май 1910

Тот, кто навещал старых девиц Салина, почти всегда обнаруживал на стульях в прихожей по крайней мере одну шляпу священника. Девиц было три; тайная борьба за первенство в доме вызвала среди них раздоры, и каждая, обладая до некоторой степени сильным характером, желала иметь собственного исповедника. Как было принято тогда в девятьсот десятом году, исповедь совершалась на дому, а угрызения совести кающихся требовали ее частого повторения. К небольшому взводу исповедников пришлось добавить духовника, который каждое утро служил мессу в домашней капелле, а также иезуита, взявшего на себя общее духовное руководство домом, и монахов и священников, являвшихся за подаяниями для того или иного прихода или на какое-либо благочестивое дело.

Читателю должно быть ясно, что хождение духовных лиц было непрестанным, вот почему прихожая виллы Салина часто напоминала одну из тех лавок на площади Минервы в Риме, где выставляют в витрине всевозможные головные уборы духовенства, от огненно-красных кардинальских до черных как уголь шляп сельских священников.

В этот майский полдень тысяча девятьсот десятого года здесь скопилось неимоверное количество шляп священнослужителей. О присутствии генерального викария палермской епархии свидетельствовала широкополая шляпа из тончайшего касторового сукна восхитительного цвета фуксии, подле которой лежала лишь одна перчатка с правой руки,

вывязанная из шелка того же деликатного оттенка; о том, что его сопровождал секретарь, можно было узнать, взглянув на шляпу из блестящего черного ворсистого плюша с тонкой фиолетовой лентой; присутствие же двух отцов иезуитов угадывалось по смиренным шляпам из мрачного фетра, символизировавшим сдержанность и скромность. Шляпа домашнего духовника занимала место на отдельном стуле, как полагается человеку, который находится под следствием.

Сегодняшнее собрание было не обычным и даже значительным. В соответствии с папскими распоряжениями кардинал-архиепископ начал проверку частных капелл своей епархии с целью удостовериться в заслугах лиц, которым дозволено отправлять в них богослужение, а также убедиться, насколько убранства этих молелен, правильность службы и подлинность почитаемых там реликвий согласуются с канонами церкви.

Домашняя церковь Салина была самой известной в городе; его преосвященство намеревался посетить ее в числе первых. Собственно, для подготовки к этому событию монсеньер викарий и направился на виллу Салина. Пройдя через неведомые фильтры, до курии архиепископства докатились весьма неприятные слухи; конечно, они не затрагивали ни достоинств владелиц, ни самого их права исполнять религиозный долг у себя дома — это никем не оспаривалось. Точно так же никто не высказывал сомнений насчет регулярности этих богослужений; с этим все обстояло почти в совершенном порядке, если только не считать излишнего, хоть и понятного сопротивления, которое девицы Салина оказывали, когда при богослужениях желал присутствовать кто-либо из лиц, не принадлежавших к тесному семейному кругу.

Внимание кардинала было обращено на другое: его беспокоила картина, почитаемая здесь, как икона, и реликвии, десятки различных реликвий, выставленных в капелле. Ходили самые тревожные слухи насчет их подлинности, и считалось желательным это проверить и доказать. Домашний духовник, хоть и являлся священником образованным, подававшим наилучшие надежды, выслушал серьезный выговор за то, что не сумел должным образом открыть на это глаза старым девам; он получил хорошую головомойку или же, если можно так выразиться, ему основательно «умыли тонзуру».

Беседа велась в главной гостиной виллы, той самой, где изображены обезьянки и попугаи. На диване, обитом сивей тканью с красной каймой, приобретенном лет тридцать назад и резко выделявшемся на фоне

блеклых тонов богатого убранства салона, сидела синьорина Кончетта; по правую руку от нее расположился монсеньер викарий; стоявшие по обе стороны дивана того же стиля кресла гостеприимно приютили синьорину Каролину и одного из иезуитов, падре Корти; в то время как синьорина Катерина, у которой были парализованы ноги, сидела в, кресле на колесиках, остальные духовные лица довольствовались обитыми щелком, под стать убранству всего салона, стульями, которые тогда всем казались менее ценными, чем роскошные кресла.

Сестрам было лег по семьдесят, немногим больше иди меньше; Кончетта была не старшей, но борьба за первенство, о которой мы вначале упомянули, давно кончилась примирением, и больше никому не приходило в голову оспаривать ее положение хозяйки дома. В наружности ее еще можно было заметить следы былой красоты: в строгих одеждах из черного муара ее тучная фигура выглядела внушительно; совсем седые волосы, туго собранные в пучок, оставляли открытым почти гладкий лоб, который наряду с презрительным выражением глаз и надменной складкой над переносицей придавал ей властный и почти величественный вид, так что один из ее внучатых племянников, обнаружив однажды в книге портрет знаменитой царицы, стал в домашнем кругу величать ее Екатериной Великой; совершенная непорочность жизни Кончетты и абсолютное невежество внука в области русской истории придавали вполне невинный характер этому неуместному обращению.

Беседа длилась уже с час, кофе был выпит, время было позднее. Монсеньер викарий подытоживал собственные доводы.

— Его преосвященство в своей отеческой заботе желает, чтоб богослужение в частных домах самым строгим образом совершалось согласно обряду святой матери церкви; именно в силу этого он, как пастырь, в числе первых обратил свою заботу на вашу капеллу, ибо ведомо ему, что дом ваш, подобно маяку, светит, мирянам Палермо; он помышляет лишь об одном: дабы безупречность почитаемых в нем священных предметов послужила к назиданию вам самим и всем верующим.

Кончетта молчала, но Каролина, старшая сестра, вскипела.

— Теперь мы предстанем перед нашими знакомыми как обвиняемые; простите меня, монсеньер, но мысль о проверке нашей капеллы не должна была даже прийти в голову его преосвященству.

Монсеньер весело заулыбался.

— Синьорины, вы даже не воображаете, насколько радует меня проявленное вами волнение; в нем я вижу выражение истинной веры, в высшей степени угодной церкви и, разумеется, Господу нашему Иисусу Христу; лишь во имя наивысшего торжества нашей веры, во имя ее чистоты святой отец предписал провести сию ревизию, которая, впрочем, вот уже несколько месяцев, как идет по всему католическому миру.

По правде говоря, ссылка на святого отца вряд ли была уместна. Каролина на самом деле принадлежала к числу тех многочисленных католиков, которые убеждены, что им дано глубже папы постичь религиозные истины; некоторые умеренные нововведения Пия X, особенно отмена кое-каких из второстепенных праздников, еще ранее приводили ее в отчаяние.

— Лучше бы папа заботился о своих делах, — сказала она, но тут же подумала с боязнью, не зашла ли она слишком далеко, и истово перекрестилась, пробормотав про себя: — Глория, Патри.

Тут вмешалась Кончетта.

— Не увлекайся, Каролина, ты не думаешь, что говоришь. Какое впечатление будет о нас у присутствующего здесь монсеньера?

А тот, нужно сказать, улыбался пуще прежнего и думал все о том, что перед ним состарившийся ребенок, мыслящий ограниченно и живущий во тьме. Он с добродушной снисходительностью сказал:

— Монсеньер считает, что перед ним три святые женщины.

Отец Корти, иезуит, пожелал несколько разрядить атмосферу.

— Я, монсеньер, принадлежу к числу тех, кто может подтвердить ваши слова: отец Пирроне, коего память чтят все, кто знал его при жизни, часто рассказывал мне, когда я был еще послушником, о святости окружения, в котором воспитаны синьорины; впрочем, достаточно одного лишь имени Салина, чтоб это стало вполне ясно.

Монсеньер пожелал перейти к конкретному делу.

— Синьорина Кончетта, теперь, когда все разъяснилось, я хотел бы с вашего позволения посетить капеллу, дабы я мог подготовить его преосвященство к тем чудесам веры, которые он завтра утром увидит.

Во времена князя Фабрицио на вилле не было домашней капеллы: по праздничным дням вся семья отправлялась в церковь, и даже падре

Пирроне, чтоб отслужить мессу, приходилось каждое утро проделывать изрядный путь. Однако после кончины князя, когда ввиду различных осложнений с наследством, о которых здесь скучно рассказывать, вилла стала исключительным достоянием трех сестер, они тотчас же позаботились о том, чтоб устроить в ней собственную молельню. Для этого был избран несколько отдаленный салон, в котором примыкающие к стенам полуколонны из фальшивого гранита создавали некое подобие римской базилики; с потолка соскоблили картину неуместного мифологического содержания, установили алтарь и на том успокоились.

В минуту, когда сюда вошел монсеньер, капеллу заливали лучи заходящего солнца и висевшая над алтарем картина, весьма почитаемая старыми девами, была ярко освещена. Портрет в стиле Кремона изображал хрупкую, очень привлекательную молодую девушку, со взором, устремленным к небесам; густые черные волосы в изящном беспорядке ниспадали на полуобнаженные плечи; в правой руке она сжимала скомканное письмо; лицо ее хранило выражение трепетного и не лишенного радости ожидания; радость сверкала в ее полных невинности глазах; в глубине зеленел мягкий ломбардский пейзаж. На полотне не было ни Христа-младенца, ни корон, ни змей, ни звезд — словом, ни одного из тех символов, которыми обычно сопровождается образ Марии; художник, должно быть, решил, что одного выражения чистоты достаточно, чтоб ее опознать.

Монсеньер приблизился к полотну, поднялся на ступеньку алтаря и, не осенив себя крестом, несколько минут разглядывал картину с тем выражением радостного восхищения, какое бывает в таких случаях у искусствоведа. Стоявшие за ним сестры усердно крестились и шептали: «Ave Maria».

Затем прелат спустился со ступеньки и, обратившись к ним, сказал:

— Прекрасная картина, весьма выразительная!

— Чудотворный образ, монсеньер, чудотворнейший! — объясняла Катерина (несчастная больная даже высунулась из своего передвижного орудия пыток). — Сколько чудес она сотворила!

Каролина перешла в наступление.

— Это Мадонна с письмом. Девственница готова вручить святое послание и молит божественного сына защитить народ Мессины. Славная помощь

была оказана, как явствуют многочисленные чудеса, происшедшие два года назад в дни землетрясения.

— Хорошая живопись, синьорина; что бы на ней ни было изображено, это прекрасный предмет искусства, его нужно беречь.

Затем он обратился к реликвиям — их было семьдесят четыре, и они густо покрывали стены по обе стороны алтаря. Каждая была обрамлена рамкой, под которой виднелась надпись с объяснением и ссылкой на документы, подтверждающие подлинность. Сами же документы, нередко весьма объемистые и отягченные печатями, покоились в покрытом узорчатой тканью ящике, который стоял в углу капеллы. Здесь были рамки из чеканного и гладкого серебра, рамки из меди и кораллов, рамки филигранной работы, рамки из кожи черепахи, а также из редких пород дерева, из самшита, из красного и голубого бархата; были рамки большие, маленькие, восьмигранные, круглые, овальные; некоторые из них стоили целое состояние, Другие были куплены по дешевке в магазине, однако для этих верующих душ все они сливались в единое целое и вызывали у хранительниц сверхъестественных сокровищ ощущение восторга.

Подлинной создательницей этого собрания была Каролина; это она откопала некую донну Розу, упитанную старуху, чуть ли не монахиню, обладавшую полезнейшими знакомствами во всех церквах, монастырях и богоугодных заведениях Палермо и окрестностей. Именно эта донна Роза каждые два месяца приносила на виллу Салина какую-нибудь святую реликвию, задернутую в веленевую бумагу. Она рассказывала, с каким трудом удалось ей вырвать эту реликвию из рук какой-нибудь обедневшей приходской церкви или разорившейся аристократической семьи. Если имя покупателя не называлось, то объяснялось это лишь похвальной скромностью; впрочем, для доказательства подлинности реликвий старуха приносила всевозможные документы, достоверность которых была ясна как Божий день; обычно они писались по-латыни или же таинственными знаками, которые определялись как греческие либо сирийские. Кончетта, управительница и казначей, платила. Потом начинались поиски рамок и их прилаживание. И снова невозмутимая Кончетта платила.

Года два тому назад был такой период, когда мания коллекционировать тревожила даже сны Каролины и Катерины: по утрам они рассказывали друг другу свои сновидения, в которых им виделись новые чудотворные находки, с робкой надеждой, что сон сбудется. Это случалось не раз после того, как они поверяли его донне Розе. Какие сны видела Кончетта? Никто

не знал. Донна Роза умерла, и приток реликвий почти совсем прекратился; впрочем, к тому времени уж наступило известное пресыщение.

Монсеньер поспешно бросил взгляд на некоторые рамки, которые были на виду.

— Сокровища, — сказал он, — поистине сокровища. Какие превосходные рамки.

Затем, поздравив их с прекрасной утварью (он именно так и назвал все это, употребив Дантово слово), пообещав воротиться завтра с его преосвященством («Да, точно в девять»), он встал на колени, перекрестился, обратившись лицом к скромной помпейской Мадонне, которая висела на боковой стене, и покинул молельню.

Вскоре стулья в прихожей, оставшись без шляп, осиротели, а духовные лица сели в ожидавшие их во дворе три коляски архиепископства с воронымиконями в упряжке. Монсеньер пожелал иметь подле себя в коляске падре Титуа, домашнего духовника, который был весьма утешен этим знаком отличия. Экипажи тронулись с места, но монсеньер хранил молчание; теперь они проезжали мимо богатой виллы Фальконери, цветущая бугенвилия спускалась со стен великолепного сада; лишь когда коляски добрались до спуска в Палермо, который проходит среди апельсиновых рощ монсеньер заговорил.

— Итак, вы, отец Титуа, осмелились на протяжении многих лет служить святую мессу перед портретом этой девушки, которая назначила свидание и ждет возлюбленного. Только не говорите мне, будто и вы верили, что это святое изображение.

— Монсеньер, я виновен и знаю это. Но не так-то легко иметь дело с синьоринами Салина, возражать синьорине Каролине. Этого вы не можете знать.

Монсеньер вздрогнул при одном воспоминании.

— Сын мой, ты пальцем коснулся язвы: это будет принято во внимание.

Каролина отправилась излить свое негодование в письме к Кларе — сестре, выданной замуж в Неаполь; Катерина, утомленная долгой и мучительной беседой, была уложена в постель; Кончетта вернулась в свою одинокую комнату — одну из тех, что имеет два лица: одно, прикрытое маской, — для несведущих посетителей; другое, обнажаемое лишь перед

тем, кто знает все подлинные обстоятельства, и прежде всего перед самим хозяином, которому открыта ее мрачная сущность (впрочем, таких комнат на свете столь много, что то же самое хочется сказать о каждом жилье). Солнечной была эта комната и выходила окнами в обширный сад; в углу стояла высокая кровать с четырьмя подушками (Кончетта страдала сердечной болезнью и спала почти сидя), никаких ковров; по красивому белому полу был рассыпан сложный узор из желтых квадратиков; здесь стоял драгоценный шкафчик для монет с десятками ящичков, отделанных камнями или слюдой; письменный стол, большой стол посреди комнаты и вся мебель деревенской работы была выдержана в веселой манере ломбардского мастера Маджолини; фигурки, изображавшие охотников, гончих и дичь, четко выделялись на фоне палисандра; эту мебель сама Кончетта считала устаревшей и даже весьма безвкусной; проданная после ее смерти с аукциона, она теперь составляет предмет гордости одного состоятельного комиссионера, «синьора» которого устраивает коктейль для своих завистливых подруг.

На стенах портреты, акварель, иконы. Все дышит чистотой и порядком. Лишь две вещи могли здесь показаться необычными: в углу, напротив кровати, словно башня, возвышались четыре огромных деревянных сундука, выкрашенных в зеленый цвет, с висячим замком на каждом, а перед ними на полу валялся пришедший в негодность мех. У наивного посетителя эта комната должна была в лучшем случае вызвать улыбку, так ясно свидетельствовала она о добродушии и повседневных хлопотах старой девы.

Для тех, кто знал действительные обстоятельства, и для самой Кончетты она была лишь адом мумифицированных воспоминаний. В четырех зеленых сундуках хранились дюжины дневных и ночных сорочек, капотов, наволочек, простынь, аккуратно подразделенных на «праздничные» и «расхожие»: то было приданое Кончетты, понапрасну заготовленное пятьдесят лет тому назад. Замки этих сундуков никогда не отпирались из опасения, что оттуда могут выскочить докучливые демоны; от всепроникающей палермской сырости вещи желтели, портились и становились никому и никогда не нужными. Портреты, висевшие на стенах, изображали уже нелюбимых более покойников; фотографии друзей, при жизни нанесших такие раны, что не могли быть позабыты и после смерти; акварелью были нарисованы дома и земли, в большинстве своем проданные за бесценок, а чаще промотанные внуками.

Хорошенько вглядевшись в изъеденный молью мех, можно было обнаружить два торчащих уха, морду из черного дерева, два вытаращенных глаза из желтого стекла; то был Бендико, подохший сорок пять лет тому назад, набальзамированный сорок пять лет тому назад, ставший прибежищем паутины и моли и вызывавший ненависть прислуги, которая вот уж десятки лет просила, чтоб его выбросили на помойку, но Кончетта всегда противилась этому: не желала расстаться с единственным воспоминанием о прошлом, которое не вызывало у нее мучительных ощущений.

Но сегодняшние треволнения (в известном возрасте каждый новый день обязательно приносит свои муки) относились лишь к настоящему. Менее набожная, чем Каролина, более чуткая, нежели Катерина, Кончетта поняла значение визита монсеньера викария и предвидела все его последствия: принудительное изъятие всех или почти всех реликвий, замена картины над алтарем, возможная необходимость вновь освятить капеллу. В подлинность этих реликвий она почти никогда не верила и платила за них с равнодушием отца, который подписывает счета за игрушки, ему безразличные и нужные лишь для того, чтоб держать в послушании детей. Ее не трогало изъятие этих предметов, сегодня ее тревожила и раздражала мысль о той жалкой роли, в которой Салина предстанут перед церковными властями, а вскоре и перед всем городом. Осторожность церкви была пределом того, чего можно было в этом отношении ожидать в Сицилии; но это еще ничего не значило: через месяц, через два все распространится, так же как распространяется любая тайна на этом острове, эмблемой которого вместе Трезубца могло бы стать ухо Дионисия, с грохотом разносящее самый легкий шорох, раздавшийся вдалеке и подслушанный им. А уважением церкви она дорожила. Престиж имени сам по себе медленно испарился. Деленное и переделенное наследство теперь в лучшем случае не превышало достояния многих других, стоявших ниже Салина семей; оно было неизмеримо меньше того, чем обладали некоторые состоятельные промышленники. Но в делах церкви, в отношениях с ней Салина всегда удерживали первенство; надо было лишь видеть, как его преосвященство встречает трех сестер, когда они на Рождество наносят ему визит. А что будет теперь?

Вошла горничная.

— Ваше превосходительство, прибыла княгиня. Автомобиль уже во дворе.

Кончетта встала, поправила волосы, набросила на плечи черную кружевную шаль, вновь обрела величавое выражение лица; она вошла в приемную в ту минуту, когда Анджелика преодолевала последние ступени наружной лестницы. Анджелика страдала расширением вен; ноги ее, немного короткие, теперь плохо служили ей; она подымалась, опираясь на руку своего слуги, который полами черного пальто подметал лестницу.

— Дорогая Кончетта!

— Анджелика моя! Как давно мы с тобой не виделись!

Со времени последнего визита прошло, если быть точным, всего пять дней, но близость между двумя родственницами была столь велика, что и пять дней могли показаться очень долгим сроком (по расстоянию, отделявшему их друг от друга, и по чувствам, ее питавшим, Эта близость во всем походила на ту, которая через несколько лет должна была объединить находившихся в смежных окопах итальянцев и австрийцев).

В Анджелике, которой также было под семьдесят, еще сохранилось много следов ее былой красоты; болезнь, превратившая ее через три года в жалкую тень, уже начала свое действие, но пока еще скрывалась где-то глубоко в ее крови; зеленые глаза были еще прежними, лишь слегка потускнели; морщины на шее были прикрыты мягкими черными лентами капора; овдовев три года назад, она носила его не без кокетства, которое также могло казаться тоскливым воспоминанием о былом.

— Что ж ты хочешь, — говорила она Кончетте, когда, взяв друг друга под руки, они направлялись к салону. — Что ж ты хочешь, из-за этих празднеств по случаю пятидесятилетия похода гарибальдийской тысячи, которые уже на носу, нет ни минуты покоя. Можешь себе представить, несколько дней тому назад меня пригласили войти в Почетный комитет; конечно, это честь для нашего дорогого Танкреди; но подумай, сколько хлопот для меня! Нужно позаботиться, куда разместить оставшихся в живых участников похода, которые съедутся со всей Италии, распределить приглашения на трибуны, чтоб никого не обидеть, да еще обеспечить участие всех мэров Сицилии. Кстати, дорогая, мэр Салины — клерикал и отказался участвовать в шествии; тогда я подумала о твоем внуке Фабрицио; он нанес мне визит, и я сразу за него ухватилась. Мне он не смог отказать, и мы в конце этого месяца увидим, как он будет шагать в длинном сюртуке по улице Свободы вслед за плакатом с большой надписью «САЛИНА». Ведь, правда, это замечательно! Салина чествует Гарибальди. Так сольются старая и новая Сицилия. Я и о тебе, дорогая,

подумала; вот твой билет на почетную трибуну, справа от королевской. — И она вытащила из своей парижской сумочки кусочек картона того же красного цвета гарибальдийцев, что и шелковый шарф, которым Танкреди некоторое время повязывал себе шею. — Каролина и Катерина будут недовольны, — продолжала она тоном третейского судьи, — но я могла располагать лишь одним местом; впрочем, у тебя на него больше прав, чем у них: ты была любимой кузиной нашего Танкреди.

Она говорила много и говорила хорошо; сорок лет совместной жизни с Танкреди, жизни бурной и непостоянной, но достаточно долгой, окончательно уничтожили акцент и манеры Доннафугаты: она преобразилась настолько, что даже усвоила изящный жест, которым Танкреди скрещивал пальцы рук. Она много читала, на ее столике последние книги Франса и Бурже чередовались с книгами Д'Аннунцио и Серао; в палермских салонах она прослыла знатоком архитектуры французских замков на Луаре, о которых часто восторженно говорила, быть может, бессознательно противопоставляя спокойствие их стиля Возрождения барочной тревоге замка Доннафугаты, к которому питала отвращение, непонятное тем, кто не знал ее заброшенного детства.

— Ну что у меня за голова, дорогая! Забыла тебе сказать, что сейчас сюда приедет сенатор Тассони, мой гость на вилле Фальконери, который хочет познакомиться с тобой: он был большим другом Танкреди, его товарищем по оружию и, кажется, слышал о тебе много. Дорогой наш Танкреди!

Платочек с тонкой черной каемочкой был извлечен из сумочки, и она вытерла слезу, выступившую на ее все еще прекрасных глазах.

Кончетта время от времени вставляла фразы, нарушая непрестанное жужжание Анджелики; однако при упоминании имени Тассони она промолчала. Далекая-далекая, но такая ясная картина возникла перед ее глазами, словно она смотрела в перевернутый бинокль: большой белый стол, вокруг которого сидят все, кто теперь уже в могиле. Танкреди рядом с ней — теперь и его уже нет, да, впрочем, и сама она тоже, в сущности, мертва; его грубый рассказ, истерический смех Анджелики и ее собственные не менее истерические слезы. То был поворот в ее жизни; в ту минуту она вступила на путь, приведший ее сюда, в эту пустыню, где больше не живет любовь, давно угасшая, где даже нет места для ненависти.

— Я узнала о ваших неприятностях с курией. До чего же они назойливы! Но почему ты мне раньше ничего не сказала. Что-нибудь я бы могла

сделать: кардинал относится ко мне с почтением; боюсь, что теперь уже слишком поздно. Теперь буду работать за кулисами. Впрочем, все это кончится пустяками.

Прибывший вскоре сенатор Тассони оказался бодрым элегантным старичком. Его огромное и все растущее богатство, обретенное в борьбе и соперничестве, не ослабило его сил, а, напротив, способствовало сохранению той постоянной энергии, которая теперь преодолевала влияние возраста, и придавало ему живость. Несколько месяцев пребывания в южной армии Гарибальди наложили на него свой отпечаток, он приобрел ту военную выправку, которой не дано было стереться. В сочетании с любезностью она вначале принесла, ему немало успехов в любви; теперь же, в соединении с числом принадлежащих ему акций, достойно служила ему, чтоб терроризировать правления банков и акционерных обществ по производству хлопчатобумажных тканей; почти половина Италии и значительная часть балканских стран пришивали свои пуговицы нитками фирмы «Тассони и К°».

— Синьорина, — обратился он к Кончетте, усаживаясь рядом с ней на низеньком стульчике, пригодном разве что для пажа и, вероятно, избранном им как раз благодаря этим свойствам. — Синьорина, сейчас осуществляется мечта далеких дней моей молодости! Наш незабвенный Танкреди в холодные ночи, на бивуаке у Вольтурно и на эскарпах осажденной Гаэты много говорил мне о вас. Мне казалось, что я уже знаком с вами, уже побывал в этом доме, в стенах которого прошли дни его неукротимой молодости; я счастлив, что хоть с таким опозданием могу принести дань своего уважения к стопам утешительницы одного из самых светлых героев нашей борьбы.

Кончетта не привыкла беседовать с кем-либо, кого она не знала с самого детства; читать она также не очень любила и, значит, не имела случая приобрести иммунитет к риторике; более того, она испытывала на себе всю силу ее чар.

Слова сенатора ее растрогали: она позабыла военные россказни полувековой давности и более не видела в Тассони осквернителя монастырей, надругавшегося над бедными испуганными монахинями; нет, теперь перед ней был старый искренний друг Танкреди, говоривший о нем с любовью, принесший ей, самой уже ставшей тенью, весточку от покойного, преодолевшую те потоки времени, которые ушедшим изредка дано переходить вброд.

— И что же говорил вам обо мне мой дорогой кузен? — спросила она вполголоса и столь застенчиво, словно в этой груде черного шелка и седых волос ожила восемнадцатилетняя девушка.

— О, очень многое! Он говорил о вас почти столько же, сколько о донне Анджелике! Анджелика была для него любовью, вы же стали прообразам сладостного отрочества, которое у нас, солдат, проходит так быстро.

Холод вновь стиснул старое сердце; а Тассониужеговорил громче, обращаясь к Анджелике:

— Вспомните, княгиня, что он сказал нам в Вене десять лет тому назад?

Потом снова обратился к Кончетте, желая объяснить, о чем идет речь.

— Я отправился туда с итальянской делегацией для заключения договора о торговле; Танкреди оказал мне гостеприимство у себя в посольстве, он привял меня с подлинной сердечностью друга и соратника, с широким радушием знатного синьора. Возможно, его растрогала встреча с товарищем по оружию в том враждебном городе, в те дни он без конца рассказывал нам о своем прошлом. В опере, в комнате за ложей, между двумя актами «Дон Жуана», он со своей несравненной иронией исповедался мне; сказал, что грешен, непростительно грешен перед вами, да, да, именно перед вами, синьорина.

На мгновение он остановился, чтоб дать ей приготовиться к неожиданному для нее рассказу.

— Так вот, представьте себе: по словам Танкреди, однажды вечером за столом в Доннафугате он позволил себе придумать забавную историйку и поведать ее вам; речь шла об одном анекдоте, якобы случившемся в дни боев у Палермо; вы же поверили ему и оскорбились, ибо для тех времен придуманный им рассказ был несколько смел. Тогда вы еще сделали ему выговор. Танкреди говорил: «Она была так мила, когда глядела на меня в упор своими разгневанными глазами, и от возмущения надула губки так мило, что походила на маленького щенка. Да, в ту минуту она была до того хороша, что я готов был расцеловать ее там же на месте, в присутствии двадцати человек и моего грозного дядюшки!»

— Вы, синьорина, об этом позабыли, но Танкреди обладал столь нежным сердцем, что все запомнил хорошо; случай этот врезался ему в память еще и потому, что именно в тот день он впервые увидел донну Анджелику.

И, обратившись к княгине, он поднял правую руку, затем низко опустил ее — один из тех знаков особой почтительности, которые идут от традиций театра Гольдони и сохранились лишь среди сенаторов королевства.

Беседа некоторое время еще продолжалась, однако нельзя сказать, чтоб Кончетта принимала в ней большое участие. Внезапное открытие медленно проникало в ее мозг и поначалу даже не доставило ей особых страданий. Когда же посетители, распрощавшись, ушли и она осталась одна, тогда все предстало ясней, а значит, куда мучительней.

Давно проклятые призраки прошлого годами не тревожили ее; они явно скрывались повсюду, они придавали горечь пище, вносили скуку в общение с людьми, но все же они давно не показывали ей своего истинного лица, теперь оно вылезало наружу, мрачно-комичное, с печатью непоправимой беды.

Конечно, нелепо думать, что Кончетта все еще любила Танкреди; вечность в любви длится не пятьдесят лет, а много меньше. Но подобно тому, как излечившийся от оспы человек и через пятьдесят лет носит на своем лице следы перенесенной болезни, хоть и позабыл уже о страданиях, так Кончетта в теперешней гнетущей ее жизни хранила рубцы своего уже почти исторического разочарования, пятидесятилетие которого должны были праздновать официально.

Когда она порой задумывалась над тем, что произошло в Доннафугате в то далекое лето, ей до сегодняшнего дня служило утешением сознание своего мученичества, допущенной по отношению к ней несправедливости, чувство враждебности к отцу, который ею пренебрег, и тоска по умершему Танкреди.

Теперь же исчезали эти ощущения, как бы служившие скелетом всего ее образа мыслей. У нее не было врагов; единственным врагом себе была она сама; свое будущее она погубила собственной неосторожностью, своим гневным порывом дочери Салина. И вот теперь, когда воспоминания после стольких десятилетий ожили, она лишилась утешения винить других в собственном несчастье, последнего утешения, единственной обманчивой надежды, какая бывает у отчаявшегося человека.

Если все было так, как сказал Тассони, какой же глупостью — нет, хуже, жестокой несправедливостью были те долгие годы, что она проводила перед портретом отца, разжигая свою ненависть к нему, и то желание запрятать подальше все фотографии Танкреди, чтоб не возненавидеть и его; теперь она страдала, вспоминая, с каким жаром, с какой мольбой

Танкреди просил дядю, чтобы его допустили в монастырь; то были слова любви к ней, слова непонятные, обращенные в бегство гордыней, слова, отступившие с поджатым, как у побитого пса, хвостом перед ее резкостью. Из тайников ее существа, хотя она и потеряла счет времени перед лицом открывшейся ей истины, поднималась тяжелым укором черная боль.

Но была ли это истина?

В Сицилии у истины жизнь короче, чем где-либо: что-то произошло пять минут тому назад, и подлинная суть происшедшего уже исчезла, уже запрятана, искажена, задавлена и уничтожена игрой вымысла и корысти — целомудрие, страх, великодушие, трусость, оппортунизм, милосердие, все страсти, как добрые, так и злые, набрасываются на факт и раздирают его в клочья; вскоре он исчезает. А несчастная Кончетта хотела обнаружить истину в невысказанных, а лишь смутно угадываемых полвека тому назад чувствах.

Истины более не существовало. Ее кратковременность возмещалась неотвратимостью кары.

Тем временем Анджелика с сенатором заканчивали свое короткое путешествие на виллу Фальконери. Тассони был озабочен.

— Анджелика, — сказал он (между ними тридцать лет тому назад была недолгая любовная связь, и он навсегда сохранил ту особую близость, которая приобретается за несколько часов, проведенных под одной простыней), — боюсь, что я чем-то обидел вашу кузину; вы заметили, какой неразговорчивой она стала под конец визита. Я бы весьма сожалел об этом, она милая дама.

— Еще бы не обидели, Витторио! — ответила Анджелика, мучимая двойной, хоть и беспочвенной ревностью. — Ведь она была до безумия влюблена в Танкреди, но он никогда не обращал на нее внимания.

Так новая лопата земли обрушилась на надгробный холм, под которым погребена истина.

Кардинал Палермо был воистину святым человеком; теперь, когда его давно уже нет в живых, память хранит воспоминания о его благочестии и милосердии. Однако при жизни кардинала все обстояло совсем иначе: он не был сицилийцем, не был даже уроженцем Юга или Рима и потому, как истый северянин, вначале долгие годы пытался прибавить дрожжей в инертное и тяжелое тесто душевного мира островитян, особенно стремясь

к тому, чтобы повлиять на духовенство. В первые годы он заблуждался, полагая, что ему удастся с помощью привезенных с родины двух-трех секретарей устранить злоупотребления или по крайней мере очистить почву от очевидной нечисти. Но вскоре он должен был убедиться, что это равносильно стрельбе по кипе хлопка: маленькая дырочка, пробитая пулей, тотчас же заполнялась тысячами волокнистых сообщников, и все оставалось по-прежнему, за вычетом расходов на порох, комичность тщетных усилий и потери энергии. За кардиналом, как и за каждым, кто тогда пытался что-либо изменить в сицилийском характере, утвердилась репутация человека «придурковатого» (что было верно в условиях той среды), и он вынужден был ограничиться оказанием пассивного милосердия, что, впрочем, лишь уменьшало его популярность, особенно в тех случаях, когда от лиц, им облагодетельствованных, требовалось приложение хотя бы минимальных усилий, к примеру, если им нужно было отправиться во дворец архиепископства.

Итак, старый прелат, появившийся на вилле Салина четырнадцатого мая, был человек добрый, но разочарованный, который кончил тем, что стал относиться к людям, вверенным его духовному попечению, с презрительным милосердием (порой неоправданным). Это вынуждало его быть резким и грубым и завлекало его все дальше в трясину нерасположения.

Как мы уже знаем, все три сестры Салина были глубоко оскорблены проверкой их капеллы; однако их инфантильные, но в сущности глубоко женские души предвкушали хотя весьма незначительные, но несомненно приятные для них последствия этого события. Их радовало, что они смогут принять у себя князя церкви и показать ему всю роскошь дома Салина, которую они наивно считали, неутраченной, а более всего им было приятно, что какие-нибудь полчаса в их доме будет развеваться пышная красная мантия и они смогут насладиться лицезрением гармоничных тонов пурпурно-красного тяжелого шелка.

Однако бедняжкам суждено было увидеть, как рухнули и эти скромные надежды. Когда они, спустившись на нижние ступени наружной лестницы, увидели выходившего из кареты кардинала, им пришлось убедиться, что его преосвященство прибыло не в торжественном наряде. Лишь маленькие красные пуговицы на строгой сутане свидетельствовали о его высоком ранге; хотя во взоре его читалась оскорбленная добродетель, кардинал выглядел не внушительнее приходского священника из Доннафугаты. Он был вежлив, но холоден и слишком

мудро сумел сочетать свое уважение к дому Салина и к личным добродетелям синьорин с презрением к их никчемности и формальной вере. Он не промолвил ни слова в ответ на восклицание монсеньера викария, восхищенного убранством гостиных, по которым они проходили; отказался отведать что-либо из приготовленных для него напитков («Спасибо, синьорина, лишь немного воды: сегодня канун праздника моего святого») и даже не присел ни на минуту. Он прямо прошел в капеллу, на мгновение опустился на колени перед помпейской Мадонной; бегло осмотрел реликвии. Затем, однако, с кротостью пастыря благословил хозяек дома и коленопреклоненную прислугу, после чего обратился к Кончетте, хранившей на лице следы бессонной ночи.

— Синьорина, три-четыре дня в капелле нельзя будет совершать богослужение, но я сам позабочусь о том, чтобы она как можно скорее была вновь освящена. Полагаю также, что помпейская Мадонна достойно займет место картины, висящей над алтарем, которая, впрочем, сможет быть присоединена к прекрасным произведениям искусства, увиденным мною, когда я проходил по вашим салонам. Что касается реликвий, то я оставлю здесь дона Паккиотти, это мой секретарь и весьма сведущий священник, он изучит все документы и сообщит вам о результатах своих изысканий; отнеситесь к его решениям, как к моим собственным.

Он каждому милостиво разрешил поцеловать свое кольцо и, сопровождаемый небольшой свитой, с трудом поднялся в экипаж.

Коляски еще не достигли поворота у виллы Фальконери, когда Каролина, после того как дала понюхать эфир Катерине, потерявшей сознание, сжав челюсти, метая молнии глазами, изрекла:

— Скажу я вам, этот папа — настоящий турок.

Кончетта спокойно беседовала с доном Паккиотти, который под конец согласился выпить чашку кофе и отведать бабку.

Затем священник потребовал ключ от ящика с документами и попросил разрешения удалиться в капеллу. Перед этим он вынул из своей сумки молоточек, пилочку, отвертку, увеличительное стекло и два карандаша. Дон Паккиотти обучался в ватиканской школе палеографии; кроме того, он был пьемонтцем. Работал он долго и аккуратно. Слуги, проходившие мимо капеллы, слышали удары молотка, скрип винтов и вздохи священника.

Через три часа он снова появился в запыленной сутане и с черными руками, но на его лице с выпуклыми глазами было написано выражение спокойствия и удовлетворения. В руках у него была большая плетенная из ив корзина. Он попросил прощения.

— Я позволил себе присвоить эту корзину, чтоб уложить в нее изъятые реликвии; могу ли я поместить ее здесь? — И он поставил в угол корзину, доверху наполненную разорванными бумагами, карточками с обозначением реликвий, коробочками, содержащими кости и хрящи. — Рад сообщить вам, что обнаружил пять несомненно подлинных и достойных почитания реликвий. Остальные — здесь, — сказал он, показав на корзину. — Вы не могли бы указать мне, синьорины, где бы я мог вымыть руки?

Через пять минут он уже появился, вытирая руки большим полотенцем, по кайме которого плясал вышитый красными нитками леопард.

— Простите, я забыл сказать вам, что рамки сложены по порядку на столе в капелле; некоторые из них действительно превосходны. — Он попрощался: — Мое почтение, синьорины.

Но Катерина отказалась поцеловать ему руку.

— А что мы должны делать с тем, что в корзине?

— Все что угодно, синьорины; можете хранить или выбросить на помойку; они ровным счетом ничего не стоят.

Кончетта хотела распорядиться насчет коляски, но он возразил:

— Не утруждайтесь, синьорина, я пообедаю в школе риторов, она отсюда в двух шагах; мне ничего не нужно. — И, уложив в сумку свои инструменты, он удалился легкой походкой.

Кончетта ушла в свою комнату; она не испытывала никаких ощущений; ей казалось, что она живет в знакомом, но совсем чуждом мире, который, исчерпав все свои порывы, сводился теперь к самым простейшим формам. Портрет отца был всего лишь небольшим квадратным куском полотна, размером в несколько сантиметров, зеленые сундуки — всего только несколькими кубометрами дров. Вскоре ей принесли письмо с большой выпуклой короной на черной печати:

«Дорогая моя Кончетта, я узнала о посещении его преосвященства и радуюсь, что удалось спасти некоторые реликвии. Надеюсь добиться того,

что монсеньер викарий лично отслужит первую мессу во вновь освященной капелле. Сенатор Тассони уезжает завтра и просит тебя вспоминать его добром. Скоро приеду к тебе, а пока что с любовью целую тебя вместе с Каролиной и Катериной. Твоя Анджелика».

Она по-прежнему ничего не чувствовала: внутреннее опустошение завершилось; только от меха в углу еще подымался нездоровый туман прошлого. В этом были ее сегодняшние муки: даже бедный Бендико вызывал горькие воспоминания. Она позвонила.

— Аннета, — сказала она, — от этой собаки, пожалуй, слишком много моли и пыли. Унесите ее, выбросьте подальше.

Когда чучело уносили, стеклянные глаза собаки взглянули на нее с униженным укором — так глядит на мир все уходящее в небытие. Несколько минут спустя все, что еще оставалось от Бендико, было свалено во двор, куда ежедневно приходил мусорщик. Во время полета из окна чучело на мгновение обрело свою форму: можно было видеть, как в воздухе плясал четвероногий зверь с длинными усами; казалось, что его передняя лапа посылает проклятие.

Затем все снова обрело мир, превратившись в горсточку темной пыли.